

* Б И Б Л И О Т Е К А С Е М Е Й Н О Г О Р О М А Н А *

Владимир

ЧУГУНОВ



Б У Р Я

протоиерей
Владимир Аркадьевич Чугунов
Буря (сборник)
Серия «Библиотека семейного романа»

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=21982983

Буря: Родное пенеллице; Новгород; 2016
ISBN 978-5-98948-067-8

Аннотация

В биографии любого человека юность является эпицентром особого психологического накала. Это – период становления личности, когда детское созерцание начинает интуитивно ощущать таинственность мира и, приближаясь к загадкам бытия, катастрофично перестраивается. Неизбежность этого приближения диктуется обоюдностью притяжения: тайна вызывает к юноше, а юноша взыскует тайны. Картина такого психологического взрыва является центральным сюжетом романа «Мечтатель». Повесть «Буря» тоже о любви, но уже иной, взрослой, которая приходит к главному герою в результате неожиданной семейной драмы, которая переворачивает не только его жизнь, но и жизнь всей семьи, а также семьи его единственной и горячо любимой дочери. Таким образом оба произведения рассказывают об одной и той же буре чувств, которая в разные

годы и совершенно по-разному подхватывает и несёт в то неизвестное, которое только одно и определяет нашу судьбу.

Содержание

Мечтатель	6
Часть первая. Любовь	7
1	7
2	17
3	28
4	34
5	41
6	49
7	56
8	64
9	71
10	78
11	83
12	89
13	98
14	110
15	117
Конец ознакомительного фрагмента.	119

Владимир Чугунов

Буря

© В.А. Чугунов – текст

© МОФ «Родное пепелище» – дизайн, вёрстка

Мечтатель

Роман

© В. А. Чугунов – текст

© МОФ «Родное пепелище» – дизайн, вёрстка

* * *

*«Поверь, не любишь ты, неопытный мечтатель.
О, если бы тебя, унылых чувств искатель,
Постигло страшное безумие любви...»*

А. С. Пушкин

Часть первая. Любовь

1

Боже, мне – восемнадцать, я уже взрослый! Казалось, ещё совсем недавно я носился с деревянным автоматом по нашему лесу, играл в чижик, лапту, прятки, догонялки, клёк, «Знамя», как очумелый гонял по бездорожью, набивая восьмёрки, на велосипеде, и даже занимался по книжке упражнениями самбо. Вместо тренировочного тюка я кидал на песках, на той стороне озера, Митю, но когда вывихнул ему руку, мама строго-настрого запретила брать его с собой. А без тренировочного тюка какая борьба? Тем более мама мечтала, чтобы Митя стал знаменитым, как Робертино Лоретти, и всё свободное время разучивала с ним то «Аве, Мария», то «Ямайку». Я потихоньку смеялся над их прибабахом: «Ямайка, а где мои трусы и майка?..» Митя грозил пожаловаться маме, но сунутый под нос кулак удерживал его от погибельного шага.

И чего я только над младшим братцем не вытворял!

Но, слава Богу, всё это закончилось, я поумнел.

Умнеть я начал, когда в конце восьмого класса пристрастился к чтению, но особенно интенсивно, когда с полгода назад тайком от родителей взялся читать бабушкино

«Остромирово Евангелие». Насчет «Остромирова Евангелия» я только чуть-чуть присочинил: бабушкино Евангелие на самом деле было старинным, на чистокровном церковно-славянском языке, с огромными полями, сплошь закапанное воском. Начав читать из спортивного интереса, я поначалу подумал, что до самого конца так и будет «Авраам роди Исаака, Исаак же роди Иакова...» и в конце, когда закончатся роды, станет ясно, чем окончится дело, и из чистого любопытства заглянул в конец. Но там было написано, что «всему миру не вместить пишемых книг», и стал читать по порядку...

Тогда-то меня и посетил Бог...

Сам я Его, конечно, не видел, но не могу же я не верить верующей бабушке. Это неверующим можно беззастенчиво врать, а верующих за это подвешивают на крюках за рёбра, варят в котлах со смолой, держат нагишом на лютном морозе и бросают в огромную яму с грызучими червями. Когда я узнал об этом, понял, почему верующие никогда не лгут, и тоже решил говорить правду.

Но тут и началось...

И, как нарочно, – шестнадцатого июля, в день отесиных именин. Отеся – отец в ласковой форме. Так звали своего родителя брата Аксаковы, славянофилы, по мнению отца – лучшие люди России. Он в то время ими бредил и приучил меня к непривычному для пролетарского уха слову. Бзик этот (по мнению мамы) у него давно прошёл, а у меня ещё

нет, и при всяком случае я нарочно обращался к отцу, как и прежде, делая вид, что не замечаю возникавшего в его глазах вопроса: «Ты прекратишь?» или: «Тебе ещё не надоело?» Но разве может надоест мечь? А это была своего рода мечь за мое несчастливое детство. И досталось же мне за этого «отесю» в школе! Не будешь же всякой смешливой дубине объяснять, что это он и его предки отсталые дурынды, а не я и мой продвинутый во всех смыслах отец. Одно время меня даже стали дразнить «отесей», но я вовремя сообразил вывести заковыристое словцо из оборота, и прозвище не прилепилось.

Короче...

И в тот, и во все предыдущие дни стояла жара. Из-за жары приходилось качать насосом воду из озера для полива сада. Вода в озере, начинавшемся от конца сада, была как парное молоко. Противоположный берег считался заливными лугами и был сплошь в молоденькой дубовой роще, над которой возвышался высокий берег Оки.

Отец с утра уехал в университет и вернулся к четырёх с охапкой цветов, сеткой фруктов, из которой торчали горлышки шампанского и коньяка. Дома всюю шла подготовка к праздничному ужину. Мама, особенно взволнованная и красивая в этот день, несколько раз отвечала на мои вопросы растерянной улыбкой. Отец был возбуждённо весел. Разглаживая рубашку на солидном животе и заводя складки за спину, как это делают солдаты, он то и дело останавливал-

ся посреди комнаты и произносил, словно не мог в это поверить:

– Сорок пять, а! Со-орок пять! – Он подходил к стоявшему в прихожей трюмо и придирчиво всматривался в своё тщательно выбранное отражение. – Нет, это Бог знает что такое!

Мама сочла необходимым вмешаться:

– А что это тебя так огорчает?

– Ещё бы! В сорок пять, говорят, баба ягодка опять, а про мужиков ничего такого не сказано. И знаешь, почему?

– И почему же?

– А ты как думаешь?

– Откуда мне знать? Это у тебя два института и ты у нас всё про всех знаешь.

– Причём тут образование? Мама вон человек необразованный, а непременно по этому поводу что-нибудь думает. Или я не прав, мам, слышишь?

– Слышу, не глухая, слава Богу, ещё. – Бабушка оторвалась от работы и, чтобы не испачкать, поправив тыльной стороной ладони съехавшую на глаза косынку, заявила, как припечатала: – Пить стали шибко много – вот что я об этом думаю.

– Понятно вам, Алексей Витальевич? – Отец подмигнул своему отражению, а затем с тою же игривостью, очевидно, без всякого злого умысла, из одной лишь забавы, задал встречный вопрос: – Тогда, может, и по какой причине пьют,

скажешь?

– И про это скажу. Бога забыли потому что. Всю совесть тэтак и пропили. Раньше не то что бабы, а и мужики ни вина, ни табаку в рот не брали. А теперь что? Еду туючки на рынок...

Не переносившая от бабушки подобного рода нравоучений мама наигранно-заботливым тоном перебила:

– А не позвать ли на помощь Лёну, не успеем, боюсь, да и к столу заодно пригласить?

Бабушка с нескрываемой досадой возразила:

– Не выдумывай, сделали почти всё. А вот к столу пригласить надо. И так бедная всё время одна да одна.

– А ты как считаешь? – тут же обернулся ко мне с хитрой улыбкой отец.

– Я тут причём? – отозвался я как можно равнодушной, хотя при одном упоминании имени соседки у меня ёкнуло сердце. – Мне, что ли, сорок пять?

– А ты и рад. Погоди, брат, придёт и твой черёд.

– Э-э, когда ещё это будет! А и придёт, так, по крайней мере, не буду ныть, как некоторые!

– Ишь ты, как не-экторые!..

Мама спросила, в котором часу будут Лапаевы. Отец ответил, не преминув добавить в интригующем тоне:

– И кое-кого ещё прихватят.

– И кого же?

– Ни за что не догадаешься.

– Кочнева?

– И как догадалась?

– Да просто подумала: что-то Филипп Петрович у нас давненько не был.

– И Леонид Андреевич собирался, – ввернул я и, вспомнив, как вчера между супругами Паниными учинился скандал, в суть которого посвятили меня Люба с Верой, совсем некстати прибавил: – А Ольга Васильевна по этому поводу громы и молнии мечет...

Отец многозначительно уставился на маму и, как бы намекая на что-то, покашлял.

Мама на него мельком взглянула.

– Чего ты на меня так смотришь? – И принялась переставлять с места на место тарелки.

– Я? Ничего.

Мама опять на него глянула и махнула рукой.

– Да ну тебя.

– Ещё бы! Как сорок пять, так сразу и ну!

– Лё-оша!

И тогда отец как по команде повернулся ко мне:

– Ну, и чего стоим? Чего, спрашиваю, лодырничаем? А ну живо наверх!

– Как, разве не в саду накрывать будем?

– Вот именно.

– Но почему?

– По радио обещали кратковременные дожди.

– С грозами! Слышал. Да они вторую неделю их обещают.

– Я кому сказал?

И я потащился в мансарду. И хотя в мансарде было не хуже, а, может, и лучше, чем внизу, поскольку с наступлением темноты на балкон выносили стол, стулья и сидели, любуясь закатом или на то, как лунный свет, серебристой дорожкой скользя по глади озера, выхватывал из темноты мостки, лодку, – словом, было не хуже, зато не было той таинственности, которая создавалась у ночного костра, и которую я любил больше всего на свете.

Положим, вечер был душный, но сколько бы я ни вглядывался в горизонт, не мог обнаружить и тени облачка – предвестника обещанного синоптиками дождя.

Мы вытащили из чулана специально изготовленную для праздников столешницу, ножи, собрали стол, подняли наверх стулья, посуду.

– Так говоришь, что Люба с Верой похожи как две капли воды? – между делом интересовался отец.

– Когда это я говорил?

– Не говорил разве?

– Да они ровно столько похожи, сколько земля и небо.

– А по-моему, очень. Я их всегда путаю.

– Да их отличить проще пареной репы. Покажи палец, которая засмеётся – Люба, а Вера вообще не смеется, потому что у нее, х-хы, зубы кривые.

– Это ты, брат, на них за что-то в обиде.

Это действительно было так.

– В обиде! Не то слово. Представляешь, до чего додумались? Будто я на Елене Сергеевне жениться собрался!

– А ты считаешь, Елена Сергеевна вышла из возраста, когда выходят замуж? Между прочим, ей нет ещё и тридцати.

– Знаю. Но я – и она! Это же такая нелепость, пап, как ты не понимаешь? Я – и она! А эти... знаешь, чего вчера отчубучили? Идут за мной и поют: «Молодая вдова всё смогла пережить, Пожалела меня и взяла к себе жить». Чтобы я к ним после этого пошёл!

– А завтра и побежишь.

– Я?!

– Ты.

– На спор?

– И спорить нечего. Начитаешься под одеялом своего Жуковского и побежишь. Удивляюсь, как он тебе до сих пор не надоел.

Я удивился в свою очередь: откуда он узнал про Жуковского?

– Не больно-то я его теперь читаю...

И это было так. Евангелие практически вытеснило из меня все остальные пристрастия. Разве что один Жуковский и остался.

Отец снисходительно на меня глянул, хотел что-то сказать, но в это время послышался визг тормозов, и мы пошли встречать гостей.

Жёлтая «Волга» с шашками на дверях стояла напротив нашей калитки. Первым из машины проворно выскочил друг отца по литобъединению Анатолий Борисович Лапаев, следом – Варвара Андреевна, его жена, довольно симпатичная, но до приторности накрашенная дама. Она была лет на десять моложе мужа, а смотрелись они ровней. Последним неторопливо выбрался Филипп Петрович Кочнев, написавший в конце двадцатых нашумевший роман «Девахи». Филипп Петрович свято хранил и где только можно козырял письмом от Горького, ещё до «Девах» откликнувшегося на его первые опусы и давшего начинающему писателю путёвку в пролетарскую литературу. Судьба Филиппа Петровича была из необыкновенных. Вышел из крестьян. В первые годы советской власти был секретарём комсомольской ячейки, окончил Рабкрин, работал селькором, выбился в люди, стал знаменитым. После лагерей, куда угодил при Сталине по доносу товарища-писателя, написал повесть, по мнению отца, почище «Ивана Денисовича», которую «в хрущёвскую оттепель» опубликовать не удалось, но, в отличие от Солженицына, ни за границу, ни в самиздат пустить её автор не решился. И затеял, как выражался отец, тягомотину: трилогию под названиями «Громыхачая поляна», «Волжский откос» и «Степан из захолустья». Два тома уже вышли, третий был в работе, отрывки из которого время от времени печатала местная «Правда». Но что-то плохо роман этот продвигался, и несколько лет Филипп Петрович промышлял литобъеди-

нением, в котором в студенческие годы познакомился с Лапаевым отцом.

Филипп Петрович не был у нас лет шесть, и я подумал, не узнает меня, но он не только узнал, а даже справился о моём здоровье.

– Как наше самочувствие, молодой человек?

– Отлично, Филипп Петрович! – в тон ему отрапортовал я.

– О-о! Ты даже помнишь, как меня, старую перечницу, зовут?

– Ещё бы! Я над вашими «Девахами» со смеху подышал!

– Вот вам и суд потомства! Пишешь серьёзную вещь, а они над тобой смеются... Ну-ну... – похлопал он меня по плечу. – Все мы когда-то были такими! Так, говоришь, жизнь бьёт ключом? Что ж – как и подобает молодому человеку. Чем занимаемся, если не секрет? У молодых ведь всегда секреты.

– Никаких секретов, Филипп Петрович! По совету отеси, – нарочно ввернул я, – веду растительное существование!

– По совету кого?

– Отеси – к которому вы на именины прибыли.

– А-а... И как это понимать? На подножный корм, что ли, перешёл?

– Не-э!.. Загораю, купаюсь, ем, сплю. Раза полтора был на рыбалке, два с половиной – на охоте. На рыбалке с тоски чуть было не помер. Сидишь – и, как Ванёк, пялишься на

поплавок. А охота сами знаете, какая она теперь. Нет, эти занятия не по мне.

– По-твоему, лучше книжки читать?

– По крайней мере, интереснее.

– Понятно. Учёба как?

– Взял академический.

– Ясно.

Все направились в дом, а я полетел к Елене Сергеевне.

Выслушав приглашение, она растерянно на меня глянула и спросила, что, может, лучше не ходить.

– Да почему?

– Там будут все свои, а я кто?

– Вы нам тоже не чужая. Собирайтесь.

– Не знаю даже... неудобно как-то...

– Неудобно спать на потолке.

– Потому что одеяло спадает – знаю, ты уже говорил.

– Вот и собирайтесь, а я подожду.

Она сказала, ждать не надо, оденется и придёт сама.

2

Когда я поднялся в мансарду, между писателями шла оживлённая беседа. Женщины ещё возились на кухне.

– Вся наша беда в том, – похаживая с заложенными за спину руками, говорил Филипп Петрович, – что мы утратили критерии оценки и от этого разучились понимать жизнь.

Подчас в очевидном не видим смысла.

– Это смотря что считать смыслом, – возразил Лапаев, не отрываясь от обычного во время посещения нашего дома занятия – изучения новых переплётков на книжной полке, занимавшей всю стену мансарды. – Блажен, кто верует.

– Тоже мне сказанул, – усмехнулся отец. – Идиотизма у них не меньше нашего.

– Да разве в этом дело, Алексей?

– А в чём, Филипп Петрович? Идиотизм – это же апофеоз русской государственности! На Западе он, по крайней мере, ограничен законом, у нас – до сего дня сам себе закон. И вы об этом не хуже меня знаете.

– Знаю, – отмахнулся Филипп Петрович. – Да говорю не о том. Цивилизации наши покоятся на одном и том же фундаменте – вот что я имею ввиду. Поинтересуйся «Историей русской словесности» Степана Шевырёва. Был такой в прошлом веке профессор Петербургского университета. В книгохране книги с курсом его лекций имеются. Рекомендую.

– Там и «Ведьмы и ведовство» Сперанского имеются и что?

– Это о чём?

– О молоте ведьм. Иначе о том самом фундаменте, который вы только что упомянули.

– Причём тут какие-то ведьмы?

– Извините, в двух словах объяснить не смогу.

– Хорошо, объясни не в двух.

– Может, для начала всё-таки закусим?

И это было как раз кстати: в это время на веранду поднялась бабушка с тарелками в руках, следом за ней, кто с чем, остальные.

Отец тут же представил Елену Сергеевну как нашу новую соседку.

– Вот как? А Андрей Степанович куда делся? – удивился Филипп Петрович и тут же вспомнил: – Ах, да, ты же говорил... Постой, а бабуля его, горбатенькая такая, с ним жила, с ней что?

– К сестре, кажется, перебралась, а дом они купили...

«Беспутный», как выражалась бабушка, муж: Елены Сергеевны погиб два года назад в Бодайбо, в старательской артели, на зимнике, провалившись под лёд вместе с бульдозером. Это была бесшабашная голова, за которого Елена Сергеевна, по собственному признанию, выскочила девчонкой в Сусумане, откуда была родом. Была она «сахаляркой» – есть такой тип местных красавиц, происходивших от смеси якутов с русскими. Чёрные, как смоль, волосы, крупный разрез глаз, их жгучий, цыганский омут и необыкновенно привлекательные, тонкие черты лица. Ростом, правда, была невысока, теперь даже немного ниже меня, но это ничуть не умаляло её привлекательности. Не знаю, все ли «сахалярки» были такими, но Елена Сергеевна была красавицей бесспорной. Да, видимо, пословица «не родись красивою, а родись счастливою» не зря сложена. Муж; Елены Сергеевны красоты жены

своей не ценил и без зазрения совести изменял ей направо и налево, в чём однажды хвастался мне в пьяном угаре, описывая подробности походов с таким смаком, что я не знал, куда девать глаза. Елену Сергеевну, оказывается, он «завел» вместо сторожевой собаки и, очевидно ревнуя, издевался над ней, оскорбляя даже при людях. Она несколько раз порывалась с ним развестись, но он говорил: «Убью», и она, зная его бешеный нрав по Сусуману, действительно очень этого боялась. «Да-а... – вздыхала не раз бабушка, глядя на их отношения. – Не зря, видно, говорено: «При плохом муже и царица – захудалая птица». Все у нас её жалели. И как-то по совету бабушки мама однажды пригласила Елену Сергеевну на Новый год. С тех пор я по-соседски частенько заходил к ней поболтать о том о сём, и вскоре эти общения сделались для меня жизненной необходимостью.

Последним в мансарду поднялся Леонид Андреевич. Не такой шумный и весёлый, как обыкновенно, да ещё без гитары. Догадавшись, что гитару не дала ревнивая Ольга Васильевна (с мамой они были в контрах), отец представил Филиппу Петровичу друга детства, не преминув заметить, что и тот «золотишком промышлял». Филипп Петрович любобпытствовал:

– Если не ошибаюсь, вы и есть тот самый Панин, лауреат всяких там конкурсов?

– Он самый, Филипп Петрович, он самый, – вздохнул с некоторым сожалением и, однако же, не без удовольствия

Леонид Андреевич, поскольку та золотая пора хотя и прошла, однако же заслуги его ещё помнят.

– Слышал, слышал вас по радио как-то. «Соловей мой, соловейка...» и ещё что-то. Порадуете старика?

– Если только под фортепьяно.

И Леонид Андреевич обернулся за поддержкой к маме, действительно иногда ему аккомпанировавшую.

– Что, прямо сейчас? – возразила мама.

– Ну, разумеется, после! – перехватил инициативу отец. – Для этого, по крайней мере, нужно спускаться вниз. Кстати. Когда пойдём, заодно рекомендую послушать нашего меньшого. Второй Робертино Лоретти, говорят!.. Ну а теперь прошу всех к столу, к столу... Ма-ама! – заметив, как бабушка потихоньку перекрестила стол, покачал головой отец и стал разливать кому шампанское, кому коньяк.

– Коньячку, пожалуй, выпью, от шампанского увольте. Сердце... – приложил Филипп Петрович руку к груди. – И где же этот ваш... Робертино Лоретти?

Отец вопросительно посмотрел на маму.

– Однокласснику игру какую-то подарили. С утра умчался. Сходишь, Никит?

Я было дёрнулся, но Филипп Петрович остановил:

– Зачем? Не надо. Пусть забавляется. Хуже нет, когда заставляют. Споёт – споёт, нет – нет... – И дрожащей рукой поднял рюмку. – Ну-с, за именинника?

Мне впервые, ввиду совершеннолетия, плеснули шампан-

ского, и я залпом выдул фужер. Через минуту голова моя поплыла, а грудь налилась храбростью.

– Ешь, давай, ешь, закусывай, – шепнула мне Елена Сергеевна.

Глянув на неё, я пришёл в такой восторг, что мне даже неудержимо захотелось её поцеловать. Она, видимо, догадалась и незаметно, но довольно чувствительно, ткнула меня кулачком в бок. Потихоньку спросила, попутно охмунив полноточным омутом цыганских глаз:

– Совсем, что ли? Ешь давай! Закусывай!

Но я был не пьян, а – счастлив! И так в эту минуту всех любил! Но не меньше, чем целоваться, тянуло меня вклиниться во взрослый разговор. Я столько уже знал, столько понимал... И, главное, видел и понимал, что только я один из всех это вижу и понимаю. И, как непризнанное дарование, выжидал наступление своего звёздного часа.

– И как вам Сибирь-матушка? Работа как? – между делом интересовался Филипп Петрович у Леонида Андреевича.

– Сибирь она Сибирь и есть. До сих пор, кстати, вспоминаю. Сопки, тайга, ночное небо... А якуты! Прошу внимания! Отец нахваливает дочь: «Мой доська караси-ывый, нос нет са-авсем, адин лиса, салавать места мно-око!»... – и выждав, когда уляжется смех (дольше и громче всех хохотал я), продолжал: – А что до работы... Если откровенно – бестолковое дело. Иные и по десять лет в артелях, и ни гроша за душой.

– Такие плохие заработки?

– Зачем? Заработки как раз хорошие. Да бич – он бич и есть. До сезона – бывший, после сезона – будущий интеллигентный человек. Не успеет вырваться из тайги – и буквально через час превращается в форменную скотину... А! И вспоминать не хочется. Ни за что бы сейчас не поехал!

– Да разве бы ты тогда отгрохал такой дворец? – возразил отец.

– Гори он синим пламенем!

– Да ладно тебе!

– Точно тебе говорю!

– Смотрю я на вас, – по очереди глянув на перепалку друзей детства, перевёл Филипп Петрович на другое. – Алексей, Анатолий, слышите? Смотрю, говорю, на вас и вспоминаю, как вы ко мне в литобъединение тогда ходили. У тебя, Алексей, скажу прямо, получалось неплохо, и зря ты это дело оставил, зря. Один твой рассказ всё припоминаю... Что-то такое бунинское, что-то вроде «Митиной любви»... И кончается так же печально. Но дело не в этом. Там у тебя всё очень живо и верно было подано. Атмосфера тех лет... Ненавязчиво, без дидактики и дутой многозначительности нынешних фокусников. Анатолий хуже начинал, но он упрямый, и гляди – третью книгу уже выпускает.

– И кто его читает?

– Кто читает, кто читает... – дёрнул плечами Филипп Петрович, очевидно, не ожидая такого некорректного вопроса. –

Кто-нибудь да читает.

– А вот мы сейчас у нашего книгочeya спросим – кого он у нас только не читал. Никита Алексеевич, ты читал Анатолия Борисовича?

Несмотря на переполнявшее меня счастье, я вздрогнул, как пойманный шкет. Лапаев писал на рабочую тему, так сказать, о передовом рабочем классе. Для мне было сушей каторгой про всё это читать, но признаться было неудобно, и я принялся мямлить:

– Про эту... повесть... Нинку-фрезеровщицу... Или это в кино было... забыл...

– Нашёл кого спрашивать! – ненатурально засмеялся Анатолий Борисович. – В его годы я тоже, знаешь ли, читал «охотно Апулея, а Цицерона не читал». Только про *это самое* и выискивал...

– Не в этом дело, Толя! Просто все вы... Ну не все, не все... – тут же оговорился отец. – А всё-таки большинство не о том пишете. Куда уж вам до Апулея! Нынешняя литература не ведаёт главного – страстей, а это двигательный нерв всей мировой классики.

И он опять принялся разливать вино.

Я тут же подставил свой бокал. Занятый разговором, отец наполнил его шипучим и игристым до краёв, и я тут же, никого не дожидаясь, его прихлопнул. Отчасти – от конфуза. Хотел, можно сказать, рвануть, а даже не дёрнулся. Пожалел. Или постеснялся? Или побоялся?

Елена Сергеевна опять ткнула меня в бок кулачком, прошипела: «Ешь давай, ешь, закусывай». Но мне расхотелось есть совершенно. Шампанское заполонило во мне всё естественное и сверхъестественное пространство.

– А сам? Посмотри на свои картины! – задетый за живое, пошёл в атаку Лапаев. – Вон их сколько! Обоев не видать. А кто-нибудь их хотя бы раз выставлял?

– Говорят, в них нет ошущшэния солнечного тепла, – с самоиронией возразил отец.

– А вот это верно подмечено, – подхватил Филипп Петрович. – И знаешь, почему? Не надо от жизни отворачиваться. А ты отворачиваешься. Отворачиваешься, отворачиваешься, не спорь... В вашем доме, кстати, Елена Сергеевна, жил до вас один не то монах, не то просто в синих штанах, некий Андрей Степанович. Тоже, знаете ли, всё от жизни отворачивался.

– А знаете, что он мне сказал, когда я заявил ему, что и без религии можно быть порядочным человеком, и что христианство в существе своём негуманно, а монашество бездейтельно и погубило Россию?

– И правильно сказал, – подхватил Филипп Петрович. – На этом ещё Луначарский в споре с обновленцем Введенским настаивал. В чём, собственно, суть атеизма? В отрицании пассивного начала. Так? А именно христианство внесло пассивное начало в мир.

– Вы это серьёзно? – в свою очередь удивился Леонид Ан-

дреевич и даже вилку положил на место. – А как же Суворов, Кутузов, Александр Невский?

– Это, Лёня, так сказать, обратная сторона медали, – ответил за классика отец. – Ты, разумеется, прав. И я бы к словам Филиппа Петровича сделал поправку. Есть тут у меня кое-что на эту тему. – Я от неожиданности даже вздрогнул: я единственный знал, что именно и где имеется. – Не знаю, был ли Андрей Степанович священником, но если и был, то, по крайней мере, тихоновцем.

– Какая разница – тихоновцем, сергианцем? – возразил Филипп Петрович. – Разве в этом дело?

– И я на этот счёт даже одну характерную историю знаю, – подхватил Лапаев. – Из «Житий святых», кстати. Однажды на пир к какому-то киевскому князю пришёл монах из Киево-Печерской лавры. Присел у края стола и стал плакать. Ему: «О чем слёзы льешь, горе луковое? Или обидел тебя кто? Так скажи... А ежели нет, выпей с нами сладкого мёда за здоровье князя и княгинюшки да порадуйся нашей радости!» Что же чернец? «Я плачу, – говорит, – братие, от мысли: так ли весело будет нам в загробной жизни?» И сразу испортил нашим суеверным предкам торжество.

– Почему же – суеверным? В этом как раз и заключалась суть их веры!.. – возразил Филипп Петрович и повернулся к отцу: – И что тебе Андрей Степанович на это ответил?

– А что он мог ответить? Вы же знаете, как он всегда возражал. Вроде соглашается, а сам свою линию гнёт. «Вы пра-

вы, мол, Алексей Витальевич, вы правы. Я знал много замечательных людей из атеистов, с которыми довелось в лагере горе мыкать, некоторые из них потом сделались мне близкими людьми. Они говорили тогда примерно то же самое. Я очень любил их слушать. Умных людей всегда приятно послушать. Но слушая, всякий раз думал о том, что, в сущности, у нас почти до совершенства развита любая наука, только нет науки о том, как жить, а главное, как умирать. Предоставив себя во власть слепому случаю, человек не может быть не только счастлив, а хотя бы ровен и стоек против того, что иногда преподносит жизнь. И многие от этого плохо кончают».

– А ты?

– А что я? Говорю, «червяк не больше терпит, когда его давят». Так это когда ещё Гамлет сказал! А что насчет «быть или не быть», так, говорю, столп христианства покачнулся на сторону в самом начале, о чём свидетельствует Апокалипсис. «А вы читали, спрашивает, Апокалипсис?» Читал, говорю. Да ведь там понять ничего невозможно. Какие-то печати, животные с головами львов, быков и орлов... Понял только, что времени больше не будет, но так и не понял, куда его денут.

– Ну-ну. А он?

– «Вы, говорит, Алексей Витальевич, во многом правы. Но этим мы не решим вопроса, потому что сами же во всём виноваты. Сидим на древе и рубим сук под собой». Каков

гусь, а?

– Да просто хитрый! – ввернул Лапаев.

– Так-так. А ты?

– «Да разве, говорю, монашество не тем же всю историю занималось? Не вы ли, говорю, приучили к этому медленно-му самоубийству народ?» – «Очень, – улыбается, – похоже, Алексей Витальевич, очень похоже. И тем не менее это наука». А как умер, вы знаете.

Я тоже хорошо помнил эту загадочную смерть. Андрей Степанович умер в своей комнате на Пасху, стоя на коленях, очевидно, во время молитвы. Видел я его и в гробу и был поражён тем спокойным выражением лица, от которого на меня впервые пахнуло не ужасом, который я обыкновенно испытывал при виде покойников, а чем-то иным, священным величием смерти, что ли, которую благодаря своей науке с таким стоическим спокойствием принял монах Андрей.

3

За разговором не заметили, когда стал накрапывать дождь. Повеяло прохладой. Отец опять взялся разливать вино, и на этот раз мне обрыбилось коньяку. И хотя я и без коньяка был хороший, как голодная щука наживку, в одно мгновение заглотил его.

Что тут началось!

Елена Сергеевна даже щипнула меня: «Противный! Ты

будешь закусывать или нет?» Но я даже не отреагировал на это, я весь был во власти жизненно важной для меня темы. Казалось, ещё немного, и я полечу.

И я действительно полетел... Но чуть позже...

– Ну-с, а теперь про обещанного Фому, – сказал Филипп Петрович, отхлебнув от своей рюмки и поставив на край стола.

– А причём тут Фома? – возразил отец. – Речь как раз о верующих, а не о неверующих.

– Ты этих извергов считаешь верующими? Этих... Как их? Которые «в великолепных аутодафе сжигали злых еретиков»? – удивился Филипп Петрович.

– Так не год и не два, а двести лет жгли. И на полном серьёзе. Между прочим, образованнейшие люди своего времени – епископы, архиепископы, юристы. Знаете, что писали они в судебных протоколах? Хотя бы на суде над некой Кларой Геслер, по доносу соседки угодившей в застенки по подозрению в ведовстве? Цитирую. В результате изощрённейших пыток (выкручивание рук, иглы под ногти, подпаливание огоньком, подвешивание вверх ногами, сдирание кожи), знаете, что она свидетельствовала? Что более сорока лет распутничала с чертями, которые являлись ей в виде кошек, собак, червяков и блох. Родила от них семнадцать детей, всех убила, выпила кровь и съела. Множество раз подымала бури и несколько раз низводила огонь на дома. Она бы спалила весь город, да демон не допустил, уверяя, что имеет в го-

роде достаточное количество подчинённых женщин. Когда к концу пытки несчастная умерла, в протокол записали, что дьявол свернул ей шею. Процесс этот был предан широкой огласке ввиду того, цитирую, что «впервые из достоверного показания самой ведьмы выяснилось, что дьявол может являться и действовать также в образе блохи и червя». А? Как вам?

Хочу попутно заметить, что во время разговора о вере бабушка сидела ни жива, ни мертва. Особенно когда речь зашла о монахе Андрее, которого она считала за святого. Но, казалось, больше всего поразило её то, что сказал сейчас отец. Остальные тоже смотрели на него с удивлением и даже недоверием, не морочит ли он им головы. Отец это не преминул заметить.

– Что вы на меня так смотрите? Всё это, между прочим, документально подтверждено. В 1597 году, например, в имперском городе Гельнгауэне, то же самое, слово в слово, было записано о шестидесятидевятилетней вдове-подённице. А в 1616 году один мужик под пытками показал, что танцевал в воздухе с Иродиадой и летал по воздуху с Пилатом... Иные уверяли, что через маленькие щели, куда и мышь не проскользнет, забирались в чужие винные погреба и пили вино, скидывались кошками, совами, воронами. Другие, не выдержав мучений, называли имена сообщников, и тогда создавались групповые процессы. Повсюду учинялась слежка, сыпались друг на друга доносы. Наконец ярость народа и

ослепление судей, алкавших крови и добычи, дошли до того, что во всей стране не осталось никого, на кого бы не падало подозрение в ведовстве. А тем временем нотариусы, протоколисты и трактирщики наживали большие деньги. Палач, как барин, разъезжал на статном коне. Дети казнённых покидали родину. Именья шли с молотка. Поля и виноградники некому стало обрабатывать. Чума так не свирепствовала в том или ином архиепископстве и неприятель не хозяйничал в нём так жестоко, как эти упыри... И это на протяжении двух столетий! Палачи хвастались друг перед другом количеством костров, числом сожжённых жертв. Образованнейшие люди того времени считали, что так называемые ведьмы заслуживают не костра, а лечения и молитв. Но против таких воззрений в пятнадцатом веке возник особый отдел богословской литературы, для создания которой понадобилось столетие экспериментов в застенках над живыми людьми и размышления над ними по монашеским кельям. Подчёркиваю – монашеским. Ибо именно эти упыри, дорвавшись до власти, устроили в Европе такой гешефт, который языческому Риму даже не снился!.. Вам, кстати, это ничего не напоминает?

– Напоминает, – заметил Лапаев. – Если народ постигают неудачи, в этом виноваты его враги!

– Стало быть, что?

– Хочешь сказать, христианство виновато? – И Леонид Андреевич, как и я, в который раз сочувственно посмотрел

на бабушку, воспринимавшую всё как свою личную обиду.

– А то кто же?

– Но у нас ничего подобного не было.

– Как это – не было? А сектантство, а скопчество, а само-сожжения, а самозакапывания? А Ёсь Виссарионыч?

– Причём тут христианство и Сталин?

– А кто?

– Сам говорил – начальствующий идиотизм.

– Кто его воспитал? На чём он вырос? Слышал, чего Филипп Петрович сказал? Наши цивилизации на одном фундаменте покоятся. И вообще, то, что началось с пришествия Христа, просто наивно считать лёгким бременем и летом прохладным!

– Обеими руками – за! – поддакнул Лапаев.

И тогда я взорвался. Конечно, мне обидно было за бабушку, сидевшую в оцепенении прямо-таки какого-то мистического ужаса, но ещё больше я оскорбился за идею. Словом, я, что называется, восстал. То есть, в прямом смысле, вскочил и натуральным образом возопил что есть мочи:

– А я – против! Против! Против! Эх вы-ы!.. – обвел я собравшихся, как мне казалось, испепеляющим взглядом. – Вы-то, вы-то сами, что из себя представляете? Да загляните вы хотя бы в Евангелие!

– Что-о? Какое ещё Евангелие? Где ты его нашёл? – тут же возмутился отец.

– Где нашё-ол! Отесья называется! Таковую книгу от меня

хотел скрыть! Спасибо бабушке – спасибо, баб! – сохранила! И я прочёл! Это, я понимаю, глаголы! Это, я понимаю, слова! «Почерпните и несите распорядителю пира». И превратилась вода в вино! «Вели идти к Тебе по воде?» – «Иди». И пошёл Пётр по морю, аки по суху!.. Так и написано – «аки по суху»! А в другом месте! «Тебе говорю, перестань!» – и сделалась велия тишина! И ещё есть! И всего-то лишь: «Эффафа» – и отверзлись очи слепого!.. И посильнее имеется! «Лазарь, гряди вон!» – и вышел из пещеры мертвец четверодневный!.. Это, я понимаю, глаголы, это, я понимаю, слова! А что у вас? Существительные, прилагательные, существительные, прилагательные!.. Сердцеведы несчастные!.. Руки прочь от Вьетнама! – вырвал я свою руку из руки Елены Сергеевны, посмевшей прикоснуться ко мне в такую ответственную минуту моей жизни.

– Да он просто пьян! – вырвалось у Варвары Андреевны.

– Это я-а пьян?! Да я до глубины души возмущён таким безосновательным хамством! – «А ведь ещё минуту назад был счастлив!» – мелькнуло в голове. Ну так что ж? Разве теперь не всё ли равно? И брякнул: – Христос, видите ли, у них во всём виноват! Мона-ахи! Так вот! Со всей ответственностью заявляю! Завтра же! Нет! Сегодня же ухожу в монастырь!

Лапаевы, Филипп Петрович, Леонид Андреевич, даже отец, знавший меня с пелёнок, взорвались смехом, да таким обидным, что окончательно переполнило чашу гнева.

– Не верите, да, не верите? Так я докажу! Я вам сейчас докажу!..

И, выскочив из-за стола, я разбежался и сиганул с балкона. Последнее, что сохранилось в памяти, истошный вопль мамы, падающие стулья, невнятные восклицания гостей.

4

Очнулся я на рассвете задолго до общего подъёма. В глазах моей каморки, с двумя полками любимых книг над выдавшим виды письменным столом, таились сумерки. Небо за окном наливалось сиренью. Из открытой форточки тянуло прохладой. Очевидно, она и оживила меня.

Я попытался приподняться, но перед глазами всё поплыло, и я беспомощно рухнул на горевшую подо мной подушку. Вчерашнее тихим ужасом стало вползать в бьющееся, как птица в клетке, сердце. Как приземлился, не помню, зато хорошо помнил, как сладостно замерло при падении во мрак летней ночи сердце. И всё не мог решить: хороню это или плохо? Стыдиться мне за вчерашнее или гордиться?

За дверью, что была за моей головой, слышались осторожные шаги. Так могла ходить только бабушка. Только она подымалась чуть свет и подолгу молилась в своей каморке.

Дверь тихонько приотворилась. Я нарочно шевельнулся.

– Баб, ты?

– Я, я... – слышался ласковый шёпот, который помнил

с раннего детства. Так успокаивающе действовал он на меня всегда.

Бабушка подошла к постели, приложила ладонь к моему горячему лбу, умиротворительно прошептала:

– Рано ещё. Спи.

– Плохо мне, баб. Голова кружится.

– Вот и поспи. Сон всё лечит.

– Ба-аб, пожалуйста, принеси кваску холодненького.

Она ушла и вскоре вернулась с кружкой тёплого кваса. Я попробовал, поморщился, но всё-таки выпил. Вскоре полегчало, от головы и груди отлегло.

– Хорошо-о ка-ак! Поплы-ыл!

– Поплыл. Ишь, космонавт... – «космонавт» – было одним из бранных бабушкиных выражения. – Помнишь ли, что вчера набедокурил?

– Я?

– Ты. Почто во взрослый разговор влез? Помнишь ли, что спьяну нагородил?

– Не нагородил, а изрёк! Могу, кстати, всё слово в слово повторить и кровью расписаться!

– Час от часу не легче! Кровью ещё на что?

– Для утверждения истины.

– Какой ещё истины?

– Истина, баб, одна. И никаких ещё истин быть не может.

– С квасу, что ли, тебя опять понесло?

– С Евангелия твоего меня понесло, а не с квасу. И не

вчера, а давно.

– Матерь Божия! Ну, ещё чем порадуешь?

– В смысле?

– Что, спрашиваю, ещё удумал?

– Известно что. Глаголом жечь сердца людей! – произнёс я важно.

– Я и говорю: с квасу мелешь невесть что! Евангелие, видите ли, его на эту дурь толкнуло! Да в Евангелии то ли писано? Где это ты там выискал, чтобы дети наперекор родителям со второго этажа с балконов сигали?

– Я тебе потом, когда после травмы ходить и читать выучусь, покажу.

– Язык бы тебе травмировать, и как можно на дольше, и пока не поумнеешь, не учить говорить.

Я сделал вид, что обиделся.

– Глупая ты, выходит, старуха! Я же за тебя, можно сказать, пострадал и муки принял, а ты!.. А ну живо неси квасу!

– Гляди как раскомандовался! Неси-принеси! Да ещё живо! А где твоё пожалуйста?

– Я кому сказал?

– Кому?.. А вот и не принесу!

– Принесешь как миленькая! А ну бегом!

Я нарочно дразнил её. И хотя это было не первый раз, всякий раз бабушка мои выходки принимала всерьёз.

– У-у, чтоб те пусто было!.. – обиженно прошипела она и с недовольным бормотанием удалилась.

«Ха!» – победоносно воскликнул я про себя и задумался. Так всё же идти мне в монахи или не идти? И если идти, то когда? Вчера я обещал – вчера. Но то было вчера, сказано под горячую руку. Тем более и монастырей в России было всего раз и два. По крайней мере, я знал только два – Троице-Сергиеву Лавру да Псково-Печёрский монастырь. Холандию в счёт не брал: ломка языка, климат (настоящей зимы для подвигов нет) и прочее... По серьёзности намерения Троице-Сергиева Лавра не подходила тоже. Музей, туристы, близость чумной Москвы. А вот Печёры псковские манили таким средневековым дурманом, этакой подвижнической жутью. О подвижнической жути узнал от бабушки. А то: откуда взял, где прочитал? Сама же и замутила, говоря высоким слогом, чистый омут по-детски доверчивого ока моей души... И ещё! Как уйти? Торжественно или с одной котомкой? Пару буханок в неё кинуть, запасные сандалии, сменное бельё, мыло и поутру незаметно исчезнуть до Страшного суда! Вот это было бы – да!.. Но... в мечтах ведь всегда выходит красиво, а на деле?..

Так посередь капитальных своих дум и заснул опять.

Проснулся далеко за полдень и, часа два валяясь в постели, читал Жуковского. О монастыре не думал нарочно. Дождик вчера, видимо, покралпал недолго, и день выдался опять жаркий. Когда немного спала жара, я пошёл на реку. Купался, купался, купался... А потом то читал, сидя на мостках и бултыхая в тёплой воде ногами, то смотрел по сторонам.

Небо было глубокое, ясное, без единого облачка. И солнце, опускаясь за озеро, кидало печальные лучи, всё вокруг словно притаилось в ожидании чего-то. Прежде, прочитав тайком от отца чего-нибудь, я шёл к Елене Сергеевне, а если её не было, к Паниным делиться впечатлением. Я хоть и остывал от Жуковского, но всё ещё почитывал его, словно пытаюсь воскресить былое. Но тут со мною что-то случилось.

Я сидел на мостках и с непонятным волнением смотрел то на гулявшую у берега плотву, то вокруг на всё это великолепие умирившихся стихий. И после чтения, по обыкновению нагнавшего на меня тоску о чём-то нездешнем, смотрел на всё как сквозь сон, что уже не раз со мной было. В такие минуты мне как бы припоминалось что-то, о чём я помнил едва-едва, каким-то оттенком чувства, но что, кажется, уже происходило со мною когда-то и где-то, о чём я забыл, но что как-то запечатлелось в душе.

И тут и, главное, совершенно вдруг я почувствовал такой прилив сил, такое неудержимое желание совершить что-нибудь необыкновенное или сделать какой-нибудь отчаянный шаг, что, нарушив данное отцу обещание, да ещё из-за обиды – из-за щипков, например, не к Елене Сергеевне подался, а к Паниным.

Я вошёл к ним в торжественном расположении духа. И готов был сидеть до утра, не тяготясь бессмысленной стукотнёй наших разговоров («А мы чего зна-аем...»), которых прежде не мог долго выносить и уходил.

Застал Веру с Любой на «нашем месте», на веранде. Эта небольшая остеклённая веранда, с массивным круглым столом, старым диваном слева от входа, у стены, с несколькими обшарпанными стульями, походила на цветочную галерею. Стены были увешаны горшками, из которых спускались чуть не до полу цветы. Снаружи веранда была оплетена вьюнами, подымавшимися по шпагатам до крыши. На окнах простенькие сатиновые занавески.

Завидя меня, сёстры заговорщицки переглянулись. Я присел на своё место, у окна, откуда хорошо был виден закат, горящее стекло озера, по которому медленно скользили чёрные силуэты лодок.

– Ну-у, и чем на этот раз намерены меня угостить? Чего улыббесь? Давайте выкладывайте, пока я добрый! – сказал я весело.

Вера не упустила случая поддеть:

– Ну вот, а мы ждём, когда ты нас начнёшь угощать своим противным Жуковским.

– С каких это пор он тебе стал противным?

– Да всегда. Я только не говорила. И вообще, какой-то он... я даже не знаю... как бумажные цветы, вот.

В отличие от сестры Вера смотрела пристально, прямо в глаза, и вместо улыбки хмурилась, как я уже сказал, оттого, что у неё были кривые зубы. Люба же смотрела простушкой и смеялась, обнажая ровненький ряд зубов, даже когда никому не смешно было.

– Как бумажные цветы-ы! Много ты понимаешь!.. – взорвался я и поднялся, полный душевного волнения, которое всё нагнеталось и нагнеталось во мне, как перед грозой. – Хотя, по правде сказать, мне самому теперь не до Жуковского!

Сёстры переглянулись, как бы желая выразить этим: «Так мы тебе и поверили!»

А я вспомнил, с каким наслаждением полчаса назад запустил книгу в окно, как она, прошелестев растрёпанными страницами в воздухе, шлёпнулась на пол, но главное – как, проходя сосновым бором, мимо лодочной станции, глядя на дрожащее в живом воздухе озеро, на тлеющий горизонт, вдруг понял, что всё это время, все мои восемнадцать лет, я не жил, а спал, и вот наконец проснулся и понял, что всей этой сонной грёзе, всей этой детской сказке прошла пора и теперь начинается настоящая жизнь.

– И чего же мы теперь делать-то будем? – съязвила Вера.

– На лодке кататься! А что? Махнём на ту сторону, наберем хворосту, разведем костер, напечём картошки... Ну, что глядим, едем?

– Едем! Только Машу дождёмся...

– ...и он втюрится в неё по уши, – заключила, как само собой разумеющееся, Вера и, нахмурившись, сжала в сдержанной улыбке губы.

«Какую ещё Машу?» – уже хотел спросить я, решив, что меня разыгрывают, но в ту же минуту послышался скрип калитки, шаги, дверь распахнулась, и вошла русоволосая стройная девушка, с короткой стрижкой, в белых шортах и такого же цвета ситцевой кофточке.

Люба кинулась к ней:

– Успела?

– Еще бы чуть-чуть и не успела бы, – ответила та. – Почтальонша уходить уже собиралась. Тётенька, говорю, ну пожалуйста, примите телеграмму: родители с ума сойдут, если не получат сегодня. Говорила ведь дяде Лёне, давайте в аэропорту дадим. Так нет! «У нас своя почта».

И она внимательно-вопросительно на меня взглянула. И это «втюрится в неё по уши» показалось мне таким возможным и вместе с тем таким невозможным. Нас познакомили. Причём, пожав протянутую руку, я ощутил свой негнущийся позвоночник.

Моё предложение Маня с радостью поддержала. Сёстры быстренько набрали в сетку картофеля, положили сверху коробок спичек, кулёк с солью, и мы отправились в путешествие. Чтобы сердце не выскочило из груди, я изо всех сил придавил его вёслами. Маня с Верой, сидя лицом ко мне и глядя по сторонам, переговаривались.

– Вышка? – спрашивала Mania.

– А знаешь, какая высокая? Я один раз забралась, думала, прыгну, куда-а, чуть живая слезла.

– Первый раз всегда страшно, а потом ничего. Я сейчас и не замечаю, что высоко. Главное, вниз не смотреть.

– И давно прыгаешь?

– Третий год. А из вас – больше никто? Даже Никита?

– Кто, он? Да он плавать два дня без полдня как выучился, а то всё книжки читал! – не упустила случая в очередной раз кольнуть меня Вера.

Я хотел было возразить: «Зато уже четыре раза озеро переплывал!» – но решил, что это нескромно, и промолчал в досаде.

– Причём тут книжки? Одно другому не мешает, – возразила Mania и посмотрела на меня как на чудика, отчего я ещё больше разозлился на Веру.

Хотя я специально старался не смотреть на Машу, а либо в небо, либо под ноги, постоянно чувствовал на себе её любопытный взгляд, и даже не заметил, как мы очутились на том берегу, и чуть было не опрокинулся, когда лодка с разбегу ткнулась носом в берег.

Mania улыbnулась на мою неловкость. И чтобы скрыть смущение, я с озверелостью унёсся за хворостом.

Разложили костёр. Когда нагорели угли, покидали картошку.

Я по-прежнему старался в Машину сторону не смотреть,

деловито ломал толстые сучья, шерудил веткой в костре и подолгу, как на что-то родственное, смотрел на пламя.

Темнело на глазах. Стая чирков пронеслась над нами, плюхнулась недалеко от берега в почерневшую воду и тут же скрылась в талах.

– А что у нас про бабу Дуню говоря-ат... – затянула свою любимую песню не взрослеющая Люба, вытаращив от страха глаза точно так же, как делала это и в десять, и в пятнадцать лет. – В полночь залезает на крышу и ну будто корову доит. Говорят, у неё потому больше всех и доит. Честное комсомольское! Лидка Горохова своими глазами видела. Я тоже хотела пойти с ней посмотреть, да забоялась... А Никитина соседка прежняя так вообще, говорят, была настоящей колдуньей...

– Чего-о? – резко возмутился я.

– Того! Кто по ветру килы пускал?

– А ты видела?

– Люди видели!

– Лидка Горохова твоя, что ли? Слушай её больше, она тебе и не то наплетёт. Про «чёрный ноготь», например. Представляете? Оказывается, одна барыга-лоточница торговала на базаре пирожками. И не простыми, а из краденых детей! А уж как попалась-то! Чёрный ноготь, видите ли, от одной жертвы случайно в единственный пирожок возьми да угоди, и его-то как раз, опять же случайно, мать пропавшей дочери купила. Стала есть и наткнулась. Ба! Да это же доченьки мо-

ей ноготочек, от мизинчика! Выследила, где барыга живёт. В милицию сообщила. Поймали. С тех пор дети в стране и перестали пропадать. А то пропадают и пропадают... Милиция с ног сбилась! Ну всё обыскала! Нигде нет! А тут вон, оказывается, что!

– Зануда несчастный!

– Хрю-хрю...

– Ве-ер, ну почему он сегодня такой противный?

– Понятно, понятно почему...

Что-то горячее пыхнуло мне в лицо, и, возможно, из одного упрямства я нагрубил бы ещё больше, но, странно, во мне вдруг обнаружились тормоза, к тому же было темно, смущения моего могли не заметить.

«Специально заводят! Дураком хотят выставить! «Понятно, понятно почему...» Конан Дойл несчастный!»

– А твой Жуковский лучше, что ли? – пошла в наступление до смерти обиженная таким наглым разоблачением Люба. – «Лесной царь», например? «Ездок погоняет, ездок доскакал... В руках его мёртвый младенец лежал». Лучше, да, лучше?

– Это же сказка. Понимать надо.

– И про ангела и Пери?

– Про Пери – не знаю, но ангелы и Бог есть!

Люба с Верой одновременно вытаращили глаза и переглянулись, казалось, даже немного опешили.

– А правда, девочки, как вы думаете, есть Бог? – нарушила

воцарившееся молчание Mania и подняла глаза к небу.

И все, в том числе и я, последовали её примеру.

И какое же чудное, какое звездное было над нами небо!

– Ой, девочки – представляете? – если всё это – бездна, и наша планета в ней такая маленькая-премаленькая и больше – ни-ко-го!.. Но если Бог действительно есть, почему бы Ему не явиться каждому из нас и не сказать: «Видишь? Я есть!» И мы бы поверили.

– Приходил, говорил, не поверили, – со знанием дела стал возражать я. – Мало того. За разбойника приняли. Арестовали, наиздевались, распяли. А Он взял и на третий день воскрес.

– А это действительно было?

– Я об этом собственными глазами в бабушкином Евангелии читал.

– И ты веришь в это?

– Верю!

– Это что-то новое, – обронила Вера.

– Новый бзик, – потихоньку поддакнула Люба.

Но я всё равно услышал, не совсем спокойно, но всё-таки проглотил обиду.

– Этой новости, между прочим, почти две тысячи лет.

– Интересно, а Он нас слышит? – до таинственности понизив голос, спросила Mania.

– Конечно! – в тон ей ответил я, и у меня пробежали мурашки по спине. – Он вообще всё видит и слышит. И даже

каждую нашу мысль.

– Ой, девочки, как страшно...

И действительно, стало жутковато как-то.

– А я вот сейчас, как бабушка, скажу: «Господи, оборони нас от всякого зла».

– И что?

– И всё, больше ничего не нужно. Проверено – броня. И вообще пора картошку вынимать.

Картофель ели с удовольствием. Несколько раз я нечаянно встречался с Машей взглядом и отводил в смущении. После нашего разговора Маша смотрела на меня с явным любопытством.

– А вообще, хорошо, когда есть хотя бы такая защита, девочки, правда? – сказала она. И я понял, что всё это очень интересует её. – Никит, а проверено – кем?

– Веками. Бабушка говорила, а ей – наш бывший сосед, монах, Андрей Степаныч.

– Монах? – одновременно удивились сёстры.

– А вы не знали... Ну да... К нему ж дядя Лёня тогда от запоя лечиться ходил.

– Вылечил?

– Как рукой сняло! Собственные дяди Лёнины слова. Сказанные по излечении слова поразили дядю Лёню не меньше.

– Мама его ещё тогда ругала. Помнишь, Вер?

– За слова?

– В общем, он распространяться стал, а мама его ругать

за это стала.

– Неужели настоящий монах? – продолжала удивляться Маша.

– Может быть, даже священник. В отставке... Бабушка говорит – святой жизни человек! В заключении был. Долго. Тогда же за веру сажали.

– А теперь?

– Теперь вроде нет. И церкви есть, и монастыри.

– И семинарии, кстати, – прибавила Маша. – Только за веру, между прочим, и теперь сажают. Не в тюрьмы, правда, а в психушки.

Сёстры опять переглянулись и с недоумением посмотрели на Машу. Вера спросила:

– Ты откуда знаешь?

– У папиного друга сын после армии хотел в нашу ленинградскую семинарию поступить. Через два дня после подачи документов задержала на улице милиция, якобы по подозрению в чём-то, доставили в участок, повезли на психиатрическую экспертизу, признали невменяемым и до полного излечения отправили в психушку. Да, что вы на меня так смотрите? Обычное дело! Папа сказал.

«Так вот почему отец испугался, когда про Евангелие услышал!» – осенило меня.

– Из всего этого, – меж; тем продолжала Маша, – можно заключить, что либо Бога нет, и, зная об этом, власти о нас заботятся, избавляя от ненормальных, либо – Он есть, и, не

зная об этом, власти всячески заботятся о том, чтобы и мы не узнали. Тоже папа сказал. И тоже, кстати, веками проверено.

– Чтобы мы не узнали о чём? – спросил я.

– О Ком, – поправила она.

И, вспомнив вчерашний разговор о молоте ведьм, я ещё с большим удивлением посмотрел на Машу...

– Ну что, картошка кончилась, костёр потух... Что дальше? – нарушила воцарившееся молчание Mania и поднялась с корточек.

Мы поднялись следом.

– A la maisonne?¹ – предложил я.

– Французский? – Я кивнул. – Красиво! А что такое – voila?

– Вот.

– И всё?

– И всё.

– А поехали в церковь? – предложила она вдруг. – У вас есть?

– Даже три!

Вера настороженно спросила:

– Зачем.

– Посмотреть... Чего там от нас скрывают... От нас скрывают, а мы возьмём и посмотрим.

– Я – за! – и поднял руку. – Когда?

– Да хоть завтра. Вечером. Служат у вас вечером?

¹ Домой? – франц.

– Бабушка ездит по субботам.

– Значит, и мы – в субботу. Выходит, через неделю? И давайте в ту, которая дальше всех. Которая – дальше всех?

– В Печёрах.

– Так решено? – никто не возразил. – И, чур, никому ни слова! Пусть это будет нашей военной тайной! Идёт?

Ещё бы! Военная тайна, да ещё с мистическим оттенком! О том, что всё это может закончиться для нас бедой, мы даже не подумали.

Домой я шагал совершенно другим человеком. Вот именно – втрескавшимся по уши. Люба с Верой сообразили на этот раз не петь ту пошленькую песенку, с которой проводили меня позавчера до калитки, а Mania, улыбнувшись, сказала: «До завтра, Никит?» Что может быть обыкновеннее этих слов? Но именно они и не дали мне заснуть, повторяясь в уме много раз вперемешку с трелью соловья за распахнутым окном, протяжным криком пивика, а впереди мнилось счастье, которое до пения петухов я распланировал чуть не до могилы.

6

С того дня всё пошло навыворот. Все дни напролет я пропадаю у Паниных и лишь изредка забегал к Елене Сергеевне. Она шутливо корила, что забываю-де старых друзей, а я наивно уверял, что никогда её не забуду.

– Так уж и никогда, – улыбалась она и с беспокойством ко мне присматривалась.

Странным мог показаться этот взгляд, было о чём подумать, но я был как во хмелю, не замечая ни загадочности этого взгляда, ни того, что творилось вокруг, рассказывая о своей влюблённости в таких подробностях, что Елена Сергеевна даже удивлялась, как это я придаю значение таким мелочам, как, например, пёрышко на оборке платья.

– Да когда оно мне все глаза промозолило! Я даже сидел так, чтобы не видеть его.

– А сказать, чтобы убрала, нельзя было?

– Шутите? Да это всё равно что сказать: извини, Mania, ты – неряха!

– Смотрите, какие тонкости... – удивлялась она и с улыбкой вздыхала.

А я погружался в свои сладостные грёзы, вспоминая то одно, то другое, но связанное с Машей, горячим солнцем, яблонево́й тенью, ослепительным блеском воды у самых мостков, хрустальными брызгами, летящими от бултыхания её загорелых ног, с её веселым смехом, озорным блеском синих-пресиних глаз, – и был счастлив, не замечая ни печальной задумчивости милого друга, ни внимательных взглядов, ни глубоких вздохов при прощании, ни того жадного любопытства, с каким она, затаив дыхание, слушала повесть о моей любви.

Тем же грезил и по ночам.

В открытое окно, казалось, вытягивало остатки воздуха и

прохлады. Голова моя томилась на горячей подушке, а перед глазами мелькали очертания красивых рук, с ровным загаром, отчетливо заметным, когда Маня брала в руки фарфоровую чашку с чаем. Загар был и на груди, в овальном разрезе белой кофточки, и на шее, и на лице, которое казалось мне самым красивым на свете.

Вскоре и чудесный голос моего братца перекочевал к Паниным. Раньше Митя забегал только для того, чтобы перехватить чего-нибудь сладенького, а с появлением Маши превратился в какого-то добровольного раба и, раздражая меня, ходил за ней, как на привязи. Маня третировала его ужасно, но он, не обращая на это внимания, с готовностью исполнял роль пажа, таская её резиновую шапочку для купания и прыжков с вышки или книжку, которую, как мученик, читал ей чуть не по складам, чего от него не могли добиться дома родители. Он бредил Машей по ночам, но всё же, в отличие от меня, спал крепко.

И как было не бредить? Маня поставила на уши буквально всех. Почти каждый день на виду у всей толпы она прыгала с вышки, переплывала по утрам озеро и не боялась ночью ходить лесом мимо заводских управленческих дач. Что и говорить, если даже сам Глеб Малинин, местная эстрадная знаменитость, потерял голову. И попил же этот Глебушка моей крови. Был он на год меня старше, играл на гитаре на танцах, сочинял и исполнял песни, которые даже звучали по городскому радио. Ещё со школы он участвовал в

разных конкурсах, ездил на молодёжный фестиваль под Тольятти. И, возможно, добился бы успехов, но был ленив, с большим самомнением, рано бросил учиться, возомнив себя гением, особенно когда стал играть на танцах и выступать в концертах. Из школы его не гнали, щадя талант. Был он душой всякого вечера, всех праздников, выпускных и новогодних вечеров. Девчонки по нему сохли. И ростом вышел. Среди девчат нашёл он себе немало врагов. Записными его врагами были и сёстры Панины. Обучаясь игре на гитаре на дому у Леонида Андреевича, Глеб с обеими успел завести отношения. Сёстры, особенно Вера, как могли, ему мстили за это. По правде сказать, меня самого тянуло к Глебу, но он был окружён толпой самых шалопутных, дружить с которыми запрещал отец. Все у нас шарахались от них, как от чумы. Они, в свою очередь, держали себя на особь и далеко не всех в свою компашку допускали. Не сказать, чтобы они были такими уж отъявленными. Держались же друг за друга не столько ради скуки, сколько для того, чтобы в нужный момент постоять за родные Палестины, когда на танцы приходили подраться из соседних посёлков. Глеб был у них в авторитете.

Так этот самый Глеб, даже после «конфуза», который вышел на второй день Машиного приезда, на танцах, и о чём речь впереди, вдруг опять стал ходить к Паниным под видом возобновления прерванных якобы по глупости занятий игры на гитаре. Но всякий раз приходил задолго до возвра-

щения Леонида Андреевича из клуба, чтобы, как шутил, настроить гитару «на лирический лад». Маша не обращала на него внимания и всякий раз, когда он появлялся, велела Мите читать «Жизнь Дэвида Копперфилда» (кстати, и мой любимый роман). Глеб, в свою очередь, делал вид, что не обращает на неё внимания, и постоянно шутил, заигрывая с Верой, которая и краснела, и бледнела, и хмурилась, стараясь не показать кривых зубов, но, кажется, опять втрескалась по уши. Правда, дальше этих невинных шуток Глеб не шёл и, словно чего-то выжидая, наблюдал за нашими с Машей отношениями. Я же по робости не смел нарушить установившейся между нами неопределённости (друзья – не друзья), хотя порою и случалось поймать на себе задумчивый взгляд или пристальное внимание.

И как не робеть, когда рос дичком. Школа (особенно последние два года) как будто вообще прошла мимо моей жизни, в которой не было ничего, кроме учёбы и книг. Особенно занимали книги. Мне нравилось погружаться в их сказочный мир, следить за причудливой игрой фортуны и томиться ожиданием, что когда-нибудь и я переживу все это. Вместо того чтобы, как в младших классах, носиться на велосипеде, ходить на лыжах по лесу, дышать живительной прохладой ядрёного морозного воздуха, я сидел в своей залитой январским солнцем комнатке и с наслаждением читал:

Мороз и солнце; день чудесный!

*Ещё ты дремлешь, друг прелестный,
Пора, красавица, проснись...*

И мне уже грезился этот «прелестный друг», приютившийся на моём диване в ярком солнечном луче. Прелестное создание, ожиданием встречи с которым я томился.

Затем поступил в университет. Усиленные занятия (а мне всё давалось с трудом), но, скорее, возложенный тайком от родителей по неразумию строгий пост (в последнюю неделю перед Рождеством я перешёл на ржаные сухарики и сырую воду) в начале второго семестра пошатнули и без того слабое здоровье. Три месяца, до середины апреля, я пролежал в туберкулёзном диспансере. Учёбу пришлось до времени оставить. Отец, напуганный болезнью, запретил по выходе из больницы чтение, предоставив возможность всё лето вести здоровый образ жизни. Но я к этому не был расположен и тайком, под одеялом, разумеется, кроме Евангелия, которое бабушка «для поправки» всё же давала мне читать, продолжал почитать Жуковского, брал книги на реку и так бы втянулся опять, кабы не перемены, наступившие и в моей жизни, и в нашем доме.

Всё сошлось к одному: и моя любовь к Мане, и перемены в нашем доме, и наши поездки сначала в Печерскую церковь, потом в Великий Враг, к отцу Григорию. Отец, забыв про свои картины, стал частенько уезжать по каким-то неотложным делам в город. По бумагам он был с мамой в разводе,

что дало возможность выхлопотать квартиру в городе. Мама скучала, заметно спала с лица. И я частенько заставлял её задумчивой, сидевшей в одиночестве за кухонным столом. Даже с Митей она перестала заниматься. Бабушка переживала тоже, а потом подалась в паломничество, практически каждые субботу и воскресенье уезжая на пароходе в Великий Враг или на автобусе в Игумново, на могилку Михаила Сметанина, которого почитала за святого и к которому ездила за советом и утешением с войны, когда тот предсказал дедушкину гибель. О Михаиле Сметанине (она его называла Дедакой), как и об отце Григории, я много раз слышал от бабушки.

Вскоре я заметил, что и Елена Сергеевна стала частенько исчезать из дома по вечерам, а в выходные уезжать в город. Встречи наши стали совсем редки, но всякий раз я стал замечать в моём друге перемены. То она, проходя мимо, нечаянно заденет меня бедром, то шевельнёт рукой отросшие за лето волосы, а то вдруг откинет их со лба и посмотрит на меня как-то насмешливо-тревожно, а то вдруг засмеётся и ни за что не скажет, отчего, или вдруг нечаянно распахнется её халатик, и я увижу обнажённую до бедра ножку, или наденет новое платье, с кокетливой стоечкой, буфами и завязочками на тонком разрезе груди, и пройдётся передо мною, как на подиуме. Я, разумеется, недоумевал, краснел, но особенно не задумывался, считая либо небрежностью, либо схождением с ума от скуки.

События нагнетались, как в воздухе гроза. Мне недосуг было разбираться во всём этом, и я продолжал тянуть тот сладостный нектар, которым наделила меня судьба в это лето. Я был счастлив, как всякий влюблённый, и от этого совершенно слеп. И потом, хватало своих забот.

Не знаю, сколько это могло продолжаться, не случись беды. На мою голову она свалилась не сразу и не одна, а потянула за собой вереницу разных неурядиц, лишений, недоумений, а потом и настоящих бед.

И началось с Машиных именин...

Но сначала о том, что перед тем было, а то будет непонятно, почему эти события привели меня к такому неординарному, странному и даже невозможному для моих лет решению.

7

На другой день после нашей прогулки за озеро в воскресенье вечером мы были на танцах. И в этом не было бы ничего особенного, кабы не знать, что на танцы (если не считать озорного младенчества) я попал впервые. А вообще, на танцы в нашем посёлке и из соседних двух тогда ходили практически все. Это было единственным местом и для знакомства, и для приобщения к той новой музыкальной культуре, которая из далёкой Англии, минуя запреты и препоны, хлынула к нам, мгновенно захватив наши умы и сердца. Родители ни

нас, ни песен наших не понимали и даже всерьёз не воспринимали, но и не мешали порой безоглядно следовать той новой музыке, которая овладела нашими сердцами. Кстати, это и было одной из причин, почему я смеялся над мамой с Митей, слушая их безнадёжно устаревшую «Аве, Мария». Митя, по крайней мере, это понимал и часто, по просьбе Маши, довольно забавно выводил: «Ес ту дей», которую выучил на слух.

Но как, спрашивается, я, мечтатель, увлечённый допотопным Жуковским, мог увлечься всем этим? Скажу откровенно. Может, и ошибусь, конечно, но мне кажется и Битлз, и всё, что за ним, вышло из той же мечты. Да что там! Мечтам – да ещё каким! – предавались целые государства! Достаточно назвать хотя бы коммунизм, убиенных воробьёв и космонавтику! Но об этом после...

Глеб в местном ансамбле был «первой скрипкой в оркестре». И голос, и исполнение – всё на солидном уровне. И, конечно, был поражен, когда какая-то, хоть и «столичная Mania», посмела этого не оценить. Первый раз именно в это воскресенье.

Танцплощадка находилась в парке за одноэтажным клубом, в котором не только регулярно крутили кино, но и занимались художественной самодеятельностью – хор, народные и бальные танцы, классы игры на фортепьяно, баяне и гитаре. Всем этим заведовал Леонид Андреевич, подрабатывая и на дому. Но к лету вся самодеятельность замирала, и толь-

ко единственная на всю округу летняя танцплощадка жила и будоражила умы и сердца людей и нелюдей. Люди танцевали. Нелюди кучковались возле редких скамеек парка, тянули из горла какой-нибудь «Солнцедар» или «Рубин», закусывая затылком одной на всех сигареты, а затем шли с кем-нибудь «разбираться». Это единственное, если не было такого же заблудыжного, как и они сами, участкового, или запаздывало «дээндэ», состоящее из наших родителей, иногда омрачало танцевальные вечера. А так всё проходило спокойно.

В тот вечер у меня случилась беда. Наводя через пропитанную стиральным порошком марлю стрелки на единственные брюки, я носком утюга пропорол на самом видном месте дыру. Материал до того износился, что его не только невозможно было зашить, но и пришить заплату. Мама, бабушка, которых я обременил своим несчастьем, и так и эдак вертели брюки, но так ничего и не могли придумать.

– А Лёшины, светлые, в ёлочку! – осенило бабушку.

– Да он в них утонет, – возразила мама. – Да ещё подумают, прости Господи, в штаны наложил.

– А подтяжки на что?

– Так пиджака нет. А в Лешинном вообще будет как клоун. Да ещё в такую жару.

– А я подтяжки под рубашку пушу, а её выпущу. А что? Так ходят.

Когда подогнули штанины и я всё это надел, Митя съязвил:

– Как беременный!

– А мы в поясе ушьём – и ладно будет... – тут же нашлась бабушка. – Сымай.

Всё было ушито, подогнано, насколько возможно прилажено, прикрыто сверху рубашкой, и всё равно такого дикого и телесного (в поясе брюки доставали чуть не до груди, подтяжки резали плечи), и душевного («как клоун») дискомфорта я ещё не испытывал. И, придирчиво глянув на себя в зеркало, откровенно приуныл.

– Да куплю я тебе завтра брюки, куплю, – сказала мама. – Когда стемнеет, никто и не заметит.

– Когда стемнеет! Когда ещё стемнеет? Не раньше десяти! А меня уже ждут! И танцы – до одиннадцати!

– Ну и сиди дома! – рассердилась бабушка. – Ишь, генерал какой выискался!

– Скажи ещё – космонавт!

– И скажу!

– Мотоциклетного шлема не хватает, – вставил Митя.

– По шее захотел?

– Ладно! По шее... В зеркало на себя посмотри. Жених, а всё – по ше-эе!

– И чей это, интересно, он жених? – состроил презрительную мину Митя.

– А ты вообще помалкивай. Иди, и через пять минут проверю, какой у тебя порядок.

– Пойдем, баб, мы с тобой тут лишние. Не переживай. Же-

нюсь и заберу тебя к себе, – сказал он и положил бабушке руку на плечо.

– Ишь, шутник тоже!

– Почему – шутник? Я серьёзно.

– Ну пошли, коли так... Порядок, что ль, у тебя в комнате наводить? Ай, хитрец!

Они ушли. А я, насилу высидев до начала сумерек, побегал через сосновый бор к Паниным. Разумеется, никого не застал. Вообще никого дома не оказалось.

«Неужели всем скопом ушли?»

И я направился к парку. В сосновом бору, через который шёл, безраздельно царствовала ночь. Тёплый воздух, насыщенный запахом хвои и трав, пьянил голову, сердце бешено стучало.

Танцы были в самом разгаре. Народу тьма и на площадке, и вокруг. Стайка пшанцов сновала вокруг с крапивой в руках в поисках очередной жертвы. Обыкновенно это были те, про которых пели «никто не приглашает на танцы, никто не провожает до дома». Когда все танцевали, они сидели у деревянного ограждения на скамьях, которыми была обнесена двумя полумесяцами площадка. Их-то, точнее какую-нибудь одинокую «тихоню и не модную совсем», и донимали пшанцы. Просовывали через ограду под лавкой куст крапивы и жогали по ногам. Что тут начиналось! Визг, брань, плевки – всё в изобилии и полном аксессуаре летело в сторону отбежавших на безопасное расстояние и картинно покатываю-

щихся от хохота шалопаев. Но порой и им доставалось, поскольку нарывались они и на таких, которых все же приглашали и провожали. Тут уже было не до смеха. И событие развивалось примерно так. «А ну иди сюда-а! Я кому сказал? Догоню – хуже будет». И это действительно было так. Поэтому всё завершалось чувствительными пинками под зад, так что даже у некрасивых и немодных вызывало жалость. «Ну ладно! Хватит!» Затем следовал увесистый подзатыльник и окончательное примирение. Шалопайи с позором покидали поле сражения. Откуда мне это известно? А сам когда-то таким был. Да-а! И пинки получал, и подзатыльники. Если тебя засекли, скрываться бесполезно. Всё равно когда-нибудь попадёшься. Так что не всё для меня тут было тайной. Танцевать я, конечно, несколько раз пробовал сначала дома, потом один раз в школе – этот... шейк... Танцевали его обыкновенно под «квадрат», под четыре аккорда на гитаре. Перед новогодним балом было дело. Митя мне аккомпанировал на фортепьяно, а я с полчаса дрыгался. Под конец спросил: «Ну как?» Он поднял большой палец кверху и сказал: «Вэри вэл!» И я ему поверил... И бил же я его потом, после бала, приговаривая: «Вэри вэл, да, вэри вэл?»

В общем, на танцплощадку я подниматься не стал не только из-за штанов. И пошёл вокруг, внимательно вглядываясь в однообразно прыгающую в такт музыке толпу.

– Ба-а, знакомые всё лица!

– Теть Оль? Здравствуйте! И вы здесь?

Госпожа Панина, обмахиваясь кустиком сирени, стояла в гордом одиночестве под топодем. Тусклый свет от фонаря тенями играл на её неожиданно не то помолодевшем, не то поглупевшем лице.

– И я здесь. Не видишь, что ли?

– А дядя Лёня?

– Не слышишь, что ли?

И только теперь я обратил внимание на виртуозную импровизацию соло-гитары.

– Чё вытворят-то, а, чё вытворят!

В деревянной раковине-сцене, возвышавшейся на метр над толпой, стоял с гитарой Леонид Андреевич. И, надо прямо сказать, смотрелся он настоящим мэтром. Об импровизации и говорить нечего. Один только Вячеслав Широков у нас мог посостязаться с ним в мастерстве. Госпожа Панина была вся ревность и восторг.

«А где, – хотел спросить я, – остальные?»

И тотчас увидел Машу, танцующую быстрый танец возле эстрады. И заметил лишь потому, что все вокруг на неё оборачивались, поскольку танцевала она не так, как все, а так, как у нас ещё не танцевали, так сказать, по-питерски. Через неделю все девчонки будут танцевать так же! Новенькое же всегда заразительно. В ту минуту на неё, очевидно, и обратил внимание Глеб. И когда Леонид Андреевич своим замечательным, ни на кого больше не похожим баритоном то ли в шутку, то ли всерьёз объявил:

– А теперь для той, которой среди вас нет, но она есть, исполняется её любимая песня – «Снегопад!» Кавалеры приглашают дам! Дамы приглашают кавалеров!

Послышался счёт барабанных палочек и за великолепным проигрышем послышались слова песни из знаменитых «Девичат», только не по роману Кочнева снятых, а по роману сына Демьяна Бедного, Бориса.

*Снегопад, снегопад, снегопад давно прошёл,
Словно в гости к нам весна опять вернулась.
Отчего, отчего, отчего мне так светло?
Оттого, что ты мне просто улыбнулась.*

И госпожа Панина мечтательно улыбнулась.

И я было заслушался. Мне самому нравилась эта песня. Но тут такое приключилось! Без преувеличения! Произошло немыслимое для наших палестин событие: Mania не пошла танцевать с Глебом. И каким образом! Только представьте себе! Леонид Андреевич ещё объявлял, а Глеб, уже спрыгнув с эстрады, на виду у всех подошёл с гордо поднятой головой, потряхивая спускавшимися до плеч, как у Леннона, волосами, к сёстрам, небрежно кивнул и произнёс (Люба потом рассказывала), вопросительно глянув на Машу: «Мы ещё не знакомы? А жаль! Танцуете?» – «Я так понимаю, вы тут поёте. Ну, так идите и пойте». Глеб неестественно усмехнулся. «Прикол?» И взял, было, за руку Веру, но она со всей злостью выдернула её. «О! О!» «И знаешь, Никит, весь из

себя такой, цыкнул сквозь зубы – и пошёл». Это был полный аут!

– Теть Оль! Дядь Лёня-то, а, дядь Лёня!

– За что и полюбила...

И, как сказал бы поэт: и дымь сирени отуманила глаза.

8

– Ой, девочки, держите меня! – увидев меня, выдала Люба, когда танцующие оттеснили их к ограждению.

Вера стиснула губы. Маня хоть и посмотрели на меня с любопытством, но ничего экстравагантного, видимо, не нашла. Во всяком случае, не сказала ни слова. И я ей за это был благодарен.

– Мам! – крикнула Вера. – А папа-то!..

Госпожа Панина мечтательно улыbnулась и покачалась в такт песне.

– Никит, пригласи маму! Не видишь, ей танцевать хочется? – крикнула Люба.

– Я тебя сейчас кой-куда приглашу! – огрызнулся я.

– Стиляга!

«Девочки, пойдёмте отсюда?» – должно быть, что-то вроде этого сказала Маня и крикнула:

– Теть Оль, мы уходим!

– Отцу скажите!

Через пару минут мы были вместе. Когда закончился

«снегопад» и лирические герои навсегда ушли «по переулку», к нам присоединился с сиявшим, как заметила ревнивая Ольга Васильевна, «как у Фонвизина», лицом Леонид Андреевич, и мы всей гурьбой двинули к дому. Нам вдогонку неслось в исполнении Глеба:

*От зари, до зари,
От темна, до темна —
О любви говори,
Пой гитарная струна!
Ла-ла-ла, ла-ла-ла
Аа-ла-ла-а, ла-ла-ла!
Ла-ла-ла, ла-ла-ла
Аа-ла-ла-а, ла-ла-ла!..*

Не знаю, как остальные, но я понял, для кого он старался. А уж он старался, о чём свидетельствовали свист, визг и улюлюканье восторженной толпы.

– Эх, где мои семнадцать лет! – воскликнул Леонид Андреевич.

– А мои двенадцать, – отозвалась Ольга Васильевна.

– Мама в папу в пятом классе влюбилась! – вставила Люба.

– Ещё бы! Кот ещё тот!

– О-ольга Васильна! Как вам не ай-яй-яй?

– А то нет!.. Нет, девчонки, не ходите замуж: за музыкантов!

– А за кого, за сынков профессоров? – не преминула кольнуть Люба.

– Или за комбайнёров... – не без намёка вставил Леонид Андреевич.

Я что-то такое слышал про колхозный картофельный роман. Совершенно невинное, глупое, что-то вроде сохранённой до свадьбы открыточки к Первомаю или Восьмому марта из самой далёкой деревни, куда однажды, ещё учась на повара, ездила с подружкой Ольга Васильевна, в самую, так сказать, страду и послевоенный относительный голод. Ну, и пострадала вечерок или два под «саратовские страдания». И всё! И ничего более! А поди ж ты!

– А что? – тут же огрызнулась принимавшая всё всерьёз и глобально Ольга Васильевна. – По крайней мере, им теперь в посевную и уборочную хорошо платят! Не то что некоторым!

– Н-да. Где мои семнадцать лет... – совершенно другим тоном произнёс Леонид Андреевич.

– Помалкивал бы, вечный юноша!

Маша с сёстрами помирали со смеху. Одному мне было не до смеху. И не только Любины колкости были тому причиной, но и штаны, которые при ходьбе опускались на подтяжках, мешая шагать, и мне то и дело приходилось их поддегивать. И руки сунуть в карманы не мог: они были подмышками. А тут ещё Леонид Андреевич стал подливать масла в огонь.

– А ты чего рубашку выпустил? Ну и видок!

– Модится, чай... – хмыкнула Ольга Васильевна.

– Какое там!.. Как голодранец! Заправь!

Я безмолвствовал.

– Ну, заправь же, ну! Сразу видно, в армии не служил!

И он пустился в свои армейские воспоминания. И так до самого дома то вспоминал армию, то призывал меня к исполнению её устава. Я насилу дождался, когда достигнем заветной калитки.

Когда Леонид Андреевич с Ольгой Васильевной ушли, Маша предложила прогуляться до лодочной станции.

– В такую темноту? – возразила Вера.

– И что?

– Страшно.

– А мы, как Никитина бабушка, скажем: «Господи, оборони нас от всякого зла!» – и всё!

И я так и не понял, в шутку или всерьёз это было сказано.

– Да идёмте же!

И Маша подхватила сестёр под руки.

В лесу было жутковато. Тишина, мрак и загадочное присутствие чего-то. Маша остановилась, прислушалась и шёпотом спросила:

– Слышите?

Люба оглянулась.

– Чего?

– Я всё же думаю, учёные ошиблись. Если всё-таки Бога придумали, то вовсе не от страха к грозе, а от страха к

темноте. Кака-ая ночь! Но-очь, но-очь, но-очь... – повторила она, имитируя эхо. – А где-то там, – она повернула голову направо, – или там, – налево, – или там... – кивнула вперёд, – во тьме, притаившись, они уже сидят и ждут. Ждут, ждут. Ам! – дёрнула она Любу за руку. Та взвизгнула. – Трусиха! – сказала Mania, хотя в голосе её не чувствовалось храбрости. – Не темноты надо бояться, а людей.

– И бесов, – прибавил я.

– Как у Гоголя? Вия?

– А то и похлеще!

– Страшнее чем... – и очень похоже произнесла: – «Поды-ми-те мне-э ве-эки-и».

– Ну, Маша, ну переста-ань! – заныла Люба.

– А вот и беседка, – сказал я и, едва переводя от страха дыхание, стал рассказывать историю, которую слышал от бабушки: – Один монах, вернувшись со службы в келью, увидел за столом господина лет сорока. Не успел подумать, кто бы это мог быть, тот спрашивает: «Ну, и чего ты небо коптишь? Знаешь, сколько бы мог пользы принести, живя в миру?» А он действительно последнее время частенько об этом думал. «Да как же я... уйду... и ночь...» – начал было он. «Да ты только пожелай – и я мигом перенесу тебя через монастырскую стену! У меня и тройка у ворот стоит! Ну, решай! Да ну же!» – «Но... кто ты? Бес?» – «А то кто же?» – «Господи, Иисусе!» – воскликнул тот. И бес исчез. Монах побежал к старцу. А тот ему с порога: «Знаю, знаю, вам явил-

ся восьмилегсионный (что-то вроде Вия) бес. Кому он является, всех убивает». «Почему же я остался жив?» – «Господь известил меня, и я тотчас встал на молитву. И тогда вам пришло на ум Его Имя». А другого подвижника бес уговорил подняться на высокую гору и идти по воздуху в рай. Разбился! А ещё одного бесы до полусмерти избили, когда он захотел в их бесовском капище поселиться. И ещё раза три били, пока он однажды не взмолился: «Господи!» – И Господь сразу: «Вот я. Что тебе?» Бесы исчезли. «Где же Ты был, Господи, когда бесы издевались надо мной?» – «Рядом. Ждал, когда позовешь».

– А Вий? Неужели он сильнее Бога?

– Не сильнее. Но сильный. Бабушка говорит, самый маленький бесёнок одним когтем может Землю перевернуть!

– И почему не переворачивает?

– Бог не велит.

– Стало быть, и нам причинить зло тоже Он не велит?

– А то кто же? И Ангелы! Ангелы-хранители. У каждого из нас есть ангел-хранитель.

– Стало быть, когда они рядом, нам нечего бояться?

– Да.

– А они всегда рядом?

– Бабушка говорит: когда не грешим.

– Когда не грешим... И когда мы не грешим? Ангел-хранитель... – произнесла она в задумчивости. – Это же совсем-совсем другое, ну совершенно всё наоборот...

Я понял, что она хотела сказать. Оба мироощущения – час назад и сейчас – были диаметрально противоположными друг другу.

– А что это за история про Пери? Вчера говорили. Я так и не поняла, – спросила Маша. – «Лесного царя» я читала. «Светлану» – тоже. А это про что?

И тогда я стал рассказывать историю Пери – лишённого райского блаженства существа. Стоявший у врат Эдема ангел послал Пери на землю в поисках дара, который мог бы отворить изгнаннику врата Рая. Три дара были принесены к райским вратам напрасно, и только последний отворил их. Не отворила жертва павшего на поле сражения за Родину воина, не отворила любовь земная, и только слёзы покаяния мгновенно отворили для него врата вечности.

– Земная любовь – плохо?

– Неплохо... – возразил я. – Но её одной, видимо, недостаточно...

У калитки Маня сказала:

– Спокойной ночи.

Но разве могла она быть спокойной? Я знаю (от Любы же), что и Маня подолгу не спала. Сидела, обняв колени и уткнув в них подбородок, на диване веранды, где ей стелили, и о чём-то думала. «Я ей: «Маш, ты что не спишь?» – «Не спится что-то. А ты?» – «И мне. Душно. Посажу с тобой». – «Хорошо как! Слышишь?» – «Что?» – «Как звезда с звездой говорит?» – «Чудная, говорю, ты! И вроде бы лоб не горячий.

Разве звёзды разговаривают?» – «И даже глядят – таинственно, из глубины. У Тютчева. «И мы плывём, пылающею бездной со всех сторон окружены!» – «Не плывём, говорю, а вращаемся и крутимся. Отсталый твой Тютчев». «А она засмеялась и ну меня обнимать и ронять. Но я её заборолла, прижала к подушке: «Спи, говорю, чумная!» Право, что чумная!»

Молчу уж о себе!

9

На другой день у меня была хоть и простая, хоть и земная и в высшем смысле презренная, но всё же радость – мне купили новые брюки. И какие! С лавсаном! Как здорово они поблескивали меленькими искорками на солнце! Как пахли! Какие чудные были на них стрелки! Как ладно они сидели на мне! Леонид Андреевич все же прав. Рубашка на выпуск – форменное безобразие! А это... Но и стыдновато. Опять Люба скажет: «Стиляга!» Как портят нас вещи! И красят, конечно! Тлен! Но что мы без них?

В тот вечер отчасти из-за брючного стыда, отчасти из жмотничества (а вдруг в темноте обо что-нибудь задену и порву или споткнусь и испачкаю), отчасти из-за ни кем ещё не разделённого чувства радости я к Паниным не пошёл (там бы меня не поняли), а весь вечер на чистом стуле просидел у Елены Сергеевны. Она тут же меня поняла и поделила со

мной простое земное счастье.

– Ну-ка, ну-ка, повернись! Здорово! Как на тебя сшиты!

Ну, невесты, теперь держись!

– Скажете тоже! Да разве в одежде дело?

– А то! Одень пенёк – и тот будет паренёк!

– Правда, идёт?

– Да, правда, правда... Почему спрашиваешь? Влюбился, что ль?

– А как вы догадались?

Она засмеялась.

– Теперь и сама вижу. В зеркало посмотришь! Зарделся-то, а! Как девка красная! И в кого бы, казалось, тут? У тебя, считай, только две подружки и есть. Или на стороне кого завёл? А ну признавайся! Чего лыбишься?

– Это... Вы обещайте только, больше никому...

– Могила!

– В общем, в эту... в Машу... – начал было я, но она тотчас перебила:

– Ах, в эту... в племянницу их!.. В магазине вчера с Любой видала. Ничего, смазливенькая девочка, фигурка, глазки...

Я чуть не задохнулся от возмущения! Фигурка, глазки, смазливенькая! И – всё? Всё, что можно сказать «о ней»? «О НЕЙ!»

– Глубоко заблуждаетесь, Елена Сергеевна, она не такая...

– Как все? Конечнo! – подхватила она, но тотчас подня-

ла руки: – Всё-всё! Мир?

Я примирительно улыбнулся.

– Мир. Только вы всё равно никому не говорите.

– Да пока вроде нечего. Не завтра же ты жениться собрался?

– Какое жениться? И дружбы ещё не предлагал!

– А-а... а дружбу что, разве предлагают?.. И как это, интересно, выглядит?

– Ну как... Ты говоришь ей: «А давай дружить?» А она: «Дава-ай!» А потом, в один прекрасный момент, ты ей уже говоришь: «А давай поженимся?» А она: «Дава-ай!»

Елена Сергеевна внимательно выслушала, улыбнулась и взъерошила мои волосы.

– Стало быть, как ты выражаешься, по-правдашнему её любишь? А не врешь?

– Ну, честно, ну!.. – заверил я её и спросил: – А вы, Елена Сергеевна? По-настоящему любили кого-нибудь?

– Почему спрашиваешь? Раз была замужем, значит, любила. Хотя не знаю... Раньше казалось – да. Теперь не знаю...

– Разве такое может казаться?

– Ещё как может! Как в песне поётся? «Если ты одна любишь сразу двух, значит это»... что? «не любовь, а просто кажется»... Так?

– А вы что, сразу двоих любили?

– Я? – удивлённо выгнула она соболиные брови и, словно оправдываясь: – Это я не про себя. А вообще, в меня ча-

стенякo влюблялись. Есть же во мне что, а?

– Ну! Будь я постарше, первый бы женился!

Она выслушала не без удовольствия.

– Маркшейдер один молоденький был. Так письмами просто завалил, в дражный поселок к себе жить звал. Да уж больно жизнь мне барачная надоела. С детства всё – драги да бараки. Ты даже не представляешь, что там за жизнь! Ну и мечтала всё, за книжкой сидя, телевидения не было: Сусуман – Ростов, Ярославль, Москва... В общем, всё, что за Уралом. Глупая, наверное, была. – Она задумалась. – Да нет, видно, не глупая, раз за урку своего пошла. Долго держалась, не давалась, боялась, обманет, не возьмёт.

– Взял?

– Раз здесь живу... Только взял он меня не по-хорошему. Пришёл раз, когда никого дома не было, и взял. «Я, говорит, тебе мальчик, что ли, в цацки играть?» И взял. И около года так длилось. Прописался, можно сказать, у нас. А что мы жили? Шестнадцать метров квадрат, с одним большим окном. Занавеска посредине комнаты. Тут же и кухня. Теснота. Почти на виду всё происходило. Дедушка (отца не знаю, не жил с нами, русский, говорят, был, красавец, мама рано умерла, спилась), так дед раз курил-курил свою трубку, да как треснет кулаком по столу. Кричит, примерно так же, как Леонид Андреевич на дне рождения: «Хыватит, хыватит пыроста так балываца! Хыватит! Или зынишь савсем! Или ни зынишь савсем! Иди тагда замус другой атдам карасивый мус!» Мой

ухмыльнулся, ничего не сказал. А через неделю, под конец сезона как раз, смотрю, идёт в цивильном, две бутылки из карманов пиджака торчат, за ним дружок его, такой же нарядный. «Свидетель, говорит, мой». Свататься пришли. И с неделю ещё пили. И в Сусумане, и на участке ихнем, и в самолёте, и в поезде от Москвы – в общем, всю дорогу досюда. Свадьбу справляли. А расписались тут. Как, по-твоему, что это?

– Бедная Елена Сергеевна! – без всякой задней мысли воскликнул я. – Да как же вас после этого не любить?

– Не жалеть, хочешь сказать? Ладно, проехали... Быльём поросло.

– Вот увидите! Поверьте! Вот увидите! Вы будете счастливы! Поверьте!

– Твои бы слова да Богу в уши. Ладно. Сказала уже: проехали.

– Какие всё-таки прекрасные, Елена Сергеевна, у вас глаза! В эту грустную минуту особенно!

– Ну ладно, ладно! Ишь разговорился! Договоришься смотри! Возьму и отобью у всех! Са-а-всем! А что? Я одинокая, терять мне нечего. Не боишься?

Это звучало шуткой. Я в шутку и принял, в шутку же и спросил:

– И что со мной делать будете?

– А целовать-миловать! Что ж ещё? Ну ладно-ладно, – остановилась она, заметив мою глупую (бывает у меня такая)

улыбку. – Всё! Прекратили! Давай чай пить. Пирог есть. Знаешь, какой я вкусный пирог с чёрной смородиной испекла! Пальчики оближешь! Митя аж до икоты объелся! И молоко холодненькое имеется. Сиди, принесу.

И она ушла на кухню.

Но я сидеть не мог. Ещё во время нашего странного разговора я несколько раз поднимался и ходил по комнате. Встал и теперь. Всё мне тут было знакомо. Дом был пятистенный, состоявший из просторного зала, спальни и небольшой кухоньки, совмещенной с прихожей. Мебели было немного. Диван-кровать, над ним на стене репродукция «Незнакомки», обеденный стол со свежей беленькой скатертью и вазочкой живых роз из собственного цветника, что был под фасадными окнами. Старомодный сервант, заставленный посудой, в углу тумбочка, на ней телевизор, на телевизоре будильник. Ни одной иконы в доме не было. Не знаю, верила Елена Сергеевна в Бога или нет, но рассказы мои, когда всё это со мной началось, слушала. Не знаю, как принимала, но слушала не перебивая. Мою выходку на дне рождения приняла как пьяную дурь. Ни говорить, ни слушать об этом не хотела. Как давеча сказала: «Всё, проехали!»

Пирог действительно был вкусный. Слаб человек! Не только одеться, но и полакомиться любит. Это я про себя. В монахи же собрался! На сухарики и пескарики!

Расстались мы, как и прежде, самыми сердечными друзьями. На прощание, стоя у порога, уже взявшись за ручку

двери, я не выдержал и сказал:

– Хочу, чтоб вы знали, Елена Сергеевна! Я не видел женщины лучше, благороднее и красивее вас! Что только есть на свете самого хорошего я желаю вам! И знаете... – прибавил я, горько усмехнувшись, – я часто и очень горько жалел, что мы всего лишь друзья!..

– Ну хватит, хватит! – почему-то шёпотом остановила она мой бред. – Иди уж... Иди к своей Manie... Иди-иди...

– И вытолкала меня за дверь.

Я с грустью повиновался – и тотчас выпал в чудную июльскую ночь. И долго ещё стоял у заветной калитки, с тоскою глядя на небо.

«Звёзды, милые мои звёзды! Если б вы только знали, как я люблю смотреть на вас!» – прошептал я в восторге.

И было же, было что-то схожее в бездонной, жутко-прекрасной красоте ночного неба с обворожительной женской красотой! Или это мне одному так казалось?

Дома меня ждало известие – записка от Паниных с предложением присоединиться завтра в девять утра к экскурсии в верхнюю историческую часть города. Записку принёс Митя, писано было рукою Любы. Передавая, Митя сказал: «Я тоже еду». «Кто это тебе сказал?» Он расплылся в откровенно счастливой улыбке и отвратительно произнес: «Ма-аша».

Наряжаясь утром, я на один оборот засучил рукава, поднял воротник рубашки, встал анфас перед зеркалом, пустил туману в глаза. Не хватало только трости и шляпы – беленькой, лёгкой, с широкими полями. И чем, спрашивается, не пижон с заграничной картины? Митя хихикнул. А я вздохнул. Разве покажешься у нас в таком виде? Хоть на танцах, хоть на улице, да хоть где засмеют. «Эй, – ещё издали крикнут, – шляпа!» И – га-га-га...

Я опустил ворот рубашки, рукава распускать не стал. Бабушка подала носовой платок.

– Куцы сморкать.

– Чего?

– Неважно. Прячь в карман.

И я спрятал. Мама дала «рупь» на проезд и мороженое. Митя погладил животик, киской сожмурил глаза и мурлыкнул:

– Натре-ескаемся!

До Дворца автозавода, до кольца «экспрессов», ехали на трамвае. Все сидели, один я, чтобы не измять брюки, стоял. Даже в «Икарусе» весь часовой путь до площади Минина стоял примерным мальчишкой-пионером.

И когда одна сердобольная, старого завета, старушка в платке, ехавшая с нами от начала, глянув на меня снизу

вверх, сказала: «Садись, сынок. Умаялся, поди, стоямши-ти? Садись, отдохни, ножки, чай, свое, не казённы, а я на следушшэй вылажу», я, естественно, ответил: «Мерси, не маленький, постою».

– Было бы предложено. Мерси и больше не проси. У меня и внук так говорит: «Мерси и больше не проси», – и наповал сразила: – Невест, что ли, стесняшься, кавалер?

Люба с Верой зажали ладонями рты, Митя осклабился во всю ширину ненасытного рта, а Маня отвернулась к окну.

– Я-а стесняюсь? Да я вообще никого, было б вам известно, не стесняюсь! – выстрелил я.

– А чего не садишься тогда?

– Я же сказал – не маленький. И вообще, чего Вы ко мне пристали?

– Гляди какой нервный! Какая нынче молодежь-то пошла, а! – и повернулась за поддержкой к соседке: – Палец в рот не клади! К им с добром, а они боком. Не-эт, пра-авильно про них в Писании сказано, пра-авильно!..

– Это в каком же таком Писании? – поинтересовалась соседка, женщина лет пятидесяти, с париком на голове.

– В святом, в каком же ещё! Всё-о, всё там про них сказано!

– А что именно?

– А грубияны что! Родителям не послушны. Языкасты! И чего только там про них не сказано!

– Хм! – И она отвернулась к окну.

– Не верите? А зря-а, зря! Там всё про всех сказано!

И, поднявшись, стала пробираться к выходу. Перед выходом поднятым указательным пальцем погрозила всему автобусу напоследок:

– Погодите! Вспомянете мои слова, да поздно, по-оздно будет!

– Не слушайте её! – повернулась к нам женщина. – Чего-о буровит! Писание! – пренебрежительно хмыкнула она, сморщив жирно накрашенные губы. – Знаем мы их писания! Опиум для народа! Не кто-нибудь – сам Ленин сказал! И вообще – как в песне поётся? Молодым везде у нас дорога? Так? Вот и идите своей дорогой, идите и никого не слушайте!

Выглядела тирада комично. Но именно она подтолкнула меня к глобальным размышлениям. Ленин, конечно, был в авторитете, обильно висел и болтался на всех плакатах, знамёнах и транспарантах, торчал на улицах и площадях всех градусов и весей «необъятной Родины моей», но давно уже никто, кроме октябрят и части грохнувших пионеров, не смотрел с прежнею верою и надеждой в сторону его протянутой руки. Не знаю, с каких пор это началось, но дороги у всех были разные. Так считал отец. Собственно, это его слова, сказанные в тесном кругу. Короче, коммунистические идеалы он не разделял, но и к христианству был настроен, так сказать, гиперболически. Имелась в одном укромном месте у него толстая общая тетрадь, что-то вроде конспекта, от содержания которого у бабушки, например, случился бы инфаркт – столько

было там желчи, но и правды, надо честно признать, было не меньше. Всё было документально подтверждено, так сказать, научно, со ссылками на источники, исторично, литературно. Отец же был историк и филолог одновременно, два факультета окончил – одним словом, голова. Чтобы не быть голословным, в своё время приведу эти записи, не знаю, насколько они характеризуют отца и сколько соотносятся с тем, что с ним потом произошло, во всяком случае, для меня они стали своеобразной точкой отправления в моём дальнейшем плавании, как сказано в Писании, по обуреваемому волнами житейскому морю.

Когда мы вышли на площади Минина, Mania несколько минут с восхищением смотрела на могучие, с бойницами и зубцами под деревянной крышей, стены Кремля, на Дмитриевскую башню.

– Красиво! – и глянув на памятник Чкалову, прибавила: – А там, надо полагать, и есть ваш знаменитый Откос! Ну что, ведите!

И мы направились к Откосу.

У каменного невысокого, выступающего полукругом вперёд, ограждения, за спиной бронзового Чкалова, стояли в безмолвии минут десять.

Подёрнутые дымкой заволжские дали, раздольное слияние великих рек, дрейфующие, величественно уходящие в речной простор суда, стремительно скользящие над серебряной чешуёй вод «Метеоры», речные краны-жирафы на

«Стрелке» в грузовом порту, над ними обезглавленное явление из другого мира – величественный Александро-Невский собор, могучее дыхание реки... Всё это произвело на Машу сильное впечатление.

Затем ходили по стене, спускались вниз, к Скобе, к тому месту, откуда начался судьбоносный поход Нижегородского ополчения на Москву. Постояли у разрушенного Предтеченского храма. Там я высказал мысль (заимствованную опять же у отца), что Москва нашему городу обязана. Действительно, чем бы она была без нашего ополчения? Полакомились мороженым в кафе «Скоба». Прокатились на трамвае до Строгановской церкви. Посмотрели музей. Холодное впечатление произвёл храм без свечей и лампад. И лики показались скорбными.

Затем на трамвае поднялись наверх, пересекли Покровку и вышли на конечной, у Чёрного пруда. И долго ещё бродили по захолустьям: ужасно нравившимся мне Холодному переулку, улице Студёной. И поздно вечером, совершенно обезноженные, уставшие, вернулись домой.

Во всём букете впечатлений лишь об одном скорбело моё (увы!) ещё привязанное к тлену сердце – в пельменной нечаянно посадил на свои новые брюки пятно. И так мне их было жаль, так я неподдельно страдал, что даже взмолился бабушкиными словами: «Боже, милостив буди, мне грешному!»

А в остальном, как заверил маму с бабушкой Митя, было и трэ бьен, и зэр гут, и вэри вэл... Вряд ли бабушка что-

нибудь поняла, но всё равно сказала:

– Ну и слава Богу!

11

Пропускаю дни до субботы. Не потому, что не интересно или секрет, а просто не хочу. Хотя ради истины надо заметить, произошло за это время в некотором смысле трагическое событие – безвозвратная утрата нескольких тысяч нервных клеток. И всё из-за Глеба. Я уже писал о нём и повторяться не буду. Скажу только, что именно в эти, безусловно, прекрасные дни он и замаячил на моём безоблачном горизонте. Пока, правда, как наблюдатель. Вынашиваемое им в эти дни, как Змеем Горынычем, коварство ожидало нас впереди.

А теперь о важном...

О нашей поездке в церковь из посторонних знала только бабушка. Не сказать ей было нельзя, поскольку, ввиду отсутствия других источников обогащения, она одна, если не считать Елену Сергеевну, способна была уделить мне от своего вязального приработка к пенсии (на рынке на деревянном ящике из-под пива сидела), которую всю до копейки отдавала в общий котёл – вязальные деньги, кстати, тоже, оставляя лишь на религиозные нужды. Поскольку Елена Сергеевна все эти дни где-то пропадала, я выжулил полтинничек у бабушки. Правда, ввиду плохо продуманного вранья при-

шлось опуститься до предательства. Но чего не сделаешь ради счастья ближнего! Иначе бы и не дала. Я свою бабушку знаю! Для такого же благого дела и выпрашивать, собственно, не пришлось. Пропела: «Так бы сразу и сказал! А то наплёл с три короба». И развязала заветный, в одном лишь ей известном месте хранившийся, чулочек. Митя разок было подглядел и уже потирал ненасытный животик, но чулочек таинственным образом из обнаруженного места в тот же вечер «от греха подальше» исчез. Событие это пробудило во мне не только удивление, но и подозрение: а с простым ли человеком живу под одной крышей? А как бабушка молилась! И бранилась, и сердилась, конечно! Но так, как бы по обязанности, словно играя со всеми нами в поддавки, по видимости вроде бы всегда отступала, но, выражаясь гроссмейстерским языком, каким-то непонятным образом всегда в итоге оказывалась в дамках. Это, кстати, из моих многолетних размышлений о смысле жизни. Не сколько-нибудь, целых восемнадцать лет думал.

Но к делу.

Получив полтинник, я решил, что для церкви, на виду у сонма вечно нищих святых, по слову апостола, скитавшихся «в милотях и козы кожах», я должен одеться как можно хуже, и надел всё же заштопанные бабушкой, разумеется, уже без стрелок, старые брюки, изношенные до нищенского вида позапрошлогодние, сто лет нечищенные туфли (еле напялил), и завершил облачение чёрным, с серыми пятнами от

засохшего молока, трико от спортивного костюма. И всё равно на нищего и убогого не до конца походил. Некуда было спрятать восторженный блеск очей и непокорные вихры.

Как же я потом обо всём этом жалел!

Но – по порядку.

Увидев меня, даже Mania поджала губы. И чтобы прекратить дурацкий смех, я вынужден был пуститься в богословские рассуждения и достиг-таки цели. К сожалению, всего только у трёх человек во всём этом яростном и прекрасном мире. Никто больше не из поту-, не из посюстороннего мира не принял меня за своего. И в трамвае, и в первом и втором автобусах (ехали с двумя пересадками) на меня либо косились, либо глядели сочувственно. А возле церкви одна старушка даже попыталась сунуть мне пирожок, но я так отчихвостил её, что она даже креститься стала: «Свят, свят, свят». Люба с Верой хихикнули, а Mania сочувственно вздохнула. Мне было, конечно, стыдно, но я верил в свою путеводную звезду, подбадривая себя тем, что мир до того, видимо, развратился, что даже такие простые евангельские истины перестал понимать, как притчу о богаче и Лазаре, например, или: «Раздай всё имение – и следуй за Мной, и будешь иметь сокровище на небесах». Не в царских же порфирах ведёт туда дорога? Разумеется, и не в чем мать родила, а как подсказано умными людьми – «в милотях и в козьих кожах», то есть кое в чём. Ну, и что я такого сделал? Эх, мир!

Но и внутри церкви меня не признали за своего. Но это

уже не из-за одежды, а потому что я забыл перекреститься. Что в церкви надо креститься, я знал, и креститься умел, только ни разу на виду у всех ещё не крестился и в церкви ни разу не был. Бабушка, когда читал Евангелие, не принуждала. Боялась, видимо, отца, строго следившего за тем, чтобы она не учила нас с Митей своим, как он выражался, «химерам».

Когда мы вошли, служба уже шла. Народу было немного, в основном в передней части храма, у алтаря. Трапезная часть была почти свободна. Когда я купил за стойкой три десятикопеечные свечи и пошёл по левой стене ставить, ко мне подошла одетая во всё чёрное старушенция со слезящимися глазами.

– Ну, а ты чего тут делаешь?

– Не видите, свечи ставлю?

– Это я вижу. А делаешь-то тут чиво? Узоровать пришёл?

– Вам больше делать, что ли, нечего?

– Точно, – сощурилась она. – Высмотреть и украсть чиво-нибудь хочешь, так? Мотри, живо мелищю вызовим! Враз скрутют.

– За что?

– Не узоруй! Не кради!

– С чего вы взяли, что я за этим пришёл? Я, может быть, за истиной пришёл?

– За какой ещё истиной? Ты зубы мне не заговаривай. Тотто, я мотрю, ты не крестишься. Сатана не велит? Што, по-

пался?

– Х-х! Натё! – и я перекрестился три раза. – Ещё? Вот! – перекрестился ещё. – Я и поклон могу сделать! – И я сделал земной поклон. – Ну, и что теперь скажете?

Но она не собиралась сдаваться.

– А Бога, к примеру, как зовут?

– Которого? Старшего или младшего?

– А-а... – смешалась она, не ожидая от меня такой компетентности. – Который воскрес!

– Кто же этого, бабуля, не знает? Об этом даже в стихах пишут: «Христос воскрес, Христос воскрес». А вообще, Богов не два, а три.

– Без тебя знаю. А молитвы какие знаешь?

– А вам какие, длинные али короткие? – в тон ей придурился я.

– Любы.

– Тогда короткие. Господи, помилуй. Что?

Но она всё не унималась, кивнув на икону, спросила:

– А это, к примеру, кто?

– Николай Чудотворец.

– Как догадался?

– Прочитал. Вот, видите, написано? Да я его и так знаю. У бабушки – самая любимая икона. Чуть что и сразу: «Никола Милостивый, батюшка, помоги!» Ну, ещё есть вопросы?

– Ну-ну, не очень-то, иди и молись, – пробурчала она.

– Молись! Да вы мне всё молитвенное настроение испор-

тили! Гнать вас таких отсюда надо! Только церковь позорите!

– А это уж не твоё сопливо дело, – смиренно-обиженно прошипела она. – Я тут, почитай, двадцать лет. И не на таких чудотворцев насмотрелась! Так что иди и молись!

Сёстры, наблюдая за нами со стороны, едва сдерживали улыбки.

«И кто к ним после этого пойдет? – продолжал я возмущаться. – Они и последних разгонят!» И долго не мог успокоиться. Лишь когда одна средних лет, с миловидным лицом, женщина, наблюдавшая эту сцену, подойдя к нам, тихонько шепнула: «Спуститесь к Иоасафу. Такая благодать!» – от сердца отлегло.

Не знаю, была ли то благодать или всего лишь моя фантазия, но у мраморной гробницы ещё не прославленного угодника я окончательно размяк. Крутая узенькая лесенка вела в подвальное помещение, где был устроен небольшой алтарь, справа от которого сидел вырезанный из дерева в натуральную величину Христос в темнице, с терновым венком на голове и, подперев рукой щеку, смотрел куда-то вниз потусторонним взглядом. По лбу его сочилась кровь, тело было всего лишь опоясано, ступни без сандалий. Даже моя убогая одежда показалась непростительной роскошью в сравнении с Его рубищем.

«Эх, пал мир, пал!»

И я до земли поклонился Божественному страдальцу.

Сёстры последовали моему примеру. Потом мы поклонились гробнице.

Службу выстояли до конца. И, запечатленные освящённым елеем, в девятом часу вышли из храма.

На Сенной площади, пока дожидались автобуса, на меня обратил внимание милиционер. Но Люба с Верой взяли меня под руки и сказали, хотя он и не спрашивал:

– Дяденька, у него на пляже, пока на косу плавал, одежду украли. Люди добрые возле церкви, что внизу, кое-чего подали, чтоб до дому доехать. Не нагишом же ему идти?

– Вон оно что. Осторожней надо быть. Далеко не заплывать.

– Он, дяденька, больше не будет. Не будешь?

И я заверил:

– Не-к!

Урок, в общем, получил хороший и полночи яростно грыз подушку.

12

Бабушка, растолкав меня поутру, поинтересовалась:

– Ну как?

Вспомнив вчерашнее, я вздохнул и ответил:

– Не знаю.

– Надо бы вам к отцу Григорью съездить.

С отцом Григорием бабушка была знакома давно. Позна-

комилась через Дедаку, покойного Михаила Сметанина, которого, как уже сказал, почитала за праведника. И я один раз был у него. Примерно за год до смерти старца бабушка возила меня для исцеления от привязавшейся хвори и дальнейшего благополучия. Лет пять мне было. Помню смутно. Обычный дом в сирени, горницу и страшного-престрашного, с мохнатыми бровями, старика на кровати. Я заплакал, уцепился за бабушкины колени и ни за что не хотел подходить к нему. Но меня всё же уговорили. Дедака посмотрел на меня серо-огненными глазами, пошевелил бровями и, положив на голову руку, сказал: «Поживё-от!» Бабушка уверяла, что после этого я перестал ковыряться ложкой в тарелке и начал мести всё подряд. Этого я уже не помню. Зато помню, как старушки, подобные бабушке, в том дедакином доме долго молились, клали поклоны перед иконой Царицы Небесной. Икону не помню. Слова же «Царица Небесная», повторяемые множество раз, запомнил на всю жизнь. И ещё. Почему-то очень долго место, где жила Царица Небесная, представлялось мне в виде нагнавшей на меня страху избы. Страшным казалось. Примерно, как туда заманивают, а назад не выпускают. А тут ещё бабушка жути подпустила: «Мотри, отцу, матери не говори, где были». В общем, страшно-о, аж жуть. Что теперь? Теперь тоже, по правде сказать, было немного страшно. Точнее, неудобно как-то. Да ещё эти клерикалы со своими допросами. Так что бабушкины слова об отце Григории не поубавили клерикального мрака. И

то сказать! На чём нас воспитывала школа? «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Вий», «Тучи над Борском», Иудушка Головлев, картины передвижников. Конечно, ничего такого я лично не видел, но гаденький такой флёр, мнилось, был накинута на всё это официально дозволенное православие. В буквальном смысле нищие и убогие, собранные по зову евангельского господина на пир по распутьям мира сего. Ничего, кроме снисхождения, у меня они не вызывали. И с такими, так сказать, недалекими, а то и просто скырлами и психически ненормальными мне надлежало поселиться где-то наверху на веки веков! Ужас! Это примерный ход моих тогдашних размышлений. И я даже думал о проектах, как в будущем, если мы всё-таки вольёмся в святые ряды, обновить, орадостить и омолодить Церковь.

– Ну, поедете к отцу Григорью? – толкнула меня бабушка.

– Поедем, отстань!

– Господи, помилуй! Опять не с той ноги встал!

– Свободна!

– Свободна... Ишь! Знамо, свободна. А ты в церкву ездил или куда? Там тебя так выучили со старшими разговаривать?

– Там!

– Та-ам... Дать бы тебе по брылам! Не стыдно?

Я молчал.

– Не стыдно, спрашиваю?

Я безмолвствовал.

– У-у, неудашный!

И она удалилась. Нет, определенно мне сегодня было не до нежностей. Но оговорюсь сразу, всю эту безмозглую око-лоцерковную толпу я всё-таки не смешивал с Евангелием. Они – одно, Евангелие – совершенно другое. И это было для меня ясно, как Божий день.

Вечером уже на трезвую голову и в нормальной обстановке мы обсуждали вчерашнее происшествие. И пришли к общему выводу: православие – одно, клерикалы – совершенно другое. И отнесли это к работе спецслужб. Приглянулся всем и мой нацеленный на будущее обновленческий проект. Скажу сразу, навеян он был содержимым отцовой тетрадки. Тут я впервые, шёпотом, упомянул о ней. И что тут началось! Принеси да принеси! Дай почитать да дай почитать!

– Только из моих рук! А лучше у нас дома. Мама с Митей завтра на две недели к своим родителям под Владимир уезжает, у отца какие-то неотложные дела в университете. Хотите – приходите.

– А удобно? – спросила Mania.

Я, разумеется, не унился до своей плоской шутки об одеяле, которое спадает, когда спишь на потолке, и сказал:

– Бабушка только рада будет. Предлагает поехать в Великий Враг.

– Село? – спросила Mania. Я кивнул. – Красиво! Великий Враг! И что там?

Я рассказал про отца Григория, немного про Дедаку.

– Хочу! Вер, Люб – вы как?

Они неопределённо пожали плечами. Mania приняла это за согласие, спросила:

– Когда?

– У бабушки и спросим.

Решено было собраться завтра у нас к двенадцати. Бабушку я должен был не только известить, но после сегодняшней выходки умаслить.

Вечером по пути на родину я заскочил к Елене Сергеевне. И, как в песне поется, «от первого мгновенья до последнего» был ею потрясён. Такою я её ещё не видел. Она порхала по дому как мотылёк, опаживая меня дурманом навитых кудрей, взбитых локонов, смущая порывом телячьих нежностей, вульгарностью неосторожно обнажавшихся ног. Относительно обнажённых ног у меня имелась теорема: почему их голизна на пляже должна означать одно, а в других местах – совсем другое? В школу, например, почему не ходят нагишом? Когда я был маленьким, думал, потому что холодно. Но это же взгляд невинности! Что спрашивать с недоразвитого младенца? Но! Разденься, например, передо мной на пляже до плавок Елена Сергеевна, и ни она, ни я и глазом не моргнуём. А попроси я её сейчас скинуть халатик (тепло же!), и был бы неправильно понят. Оставляю теорему без решения, не предвижу онога ни в одной учёной башке. Бабушкино решение знаю заранее, выражается оно одним-единственным словом, которое не привожу потому, что не хочу никого обижать.

– Какой-то ты сегодня молчали-ивый, – склонившись сзади над стулом, с которого я всё это безобразие созерцал, шепнула почти на ухо, естественно, вызвав при этом во мне неприличный пожар, Елена Сергеевна. – Скажи же что-нибудь!

– А что вы хотите услышать?

– Ну-у... как тебе, например, моя причёска? А мой новый костюм не хочешь посмотреть? Погоди, сейчас покажу!

Наряды Елена Сергеевна шила себе сама. Работала она в одном из самых лучших городских ателье, была прекрасным модельером, закройщицей и швейей. Практически все модницы и вообще многие в нашем посёлке и немало из города шили себе наряды только у неё. Она неплохо на этом зарабатывала.

Елена Сергеевна распахнула платяной шкаф, достала висевший на плечиках какого-то немислимого покроя, с разными штучками, костюм и сказала:

– Отвернись! Смотри не подглядывай! Вниз, вниз, а не на телевизор смотри, хитрец!

– А то я не видел! Больно надо... – обиделся я.

– Где это ты видел?

– На пляже.

– Да-а? Значит, ты на пляж; только за тем и ходишь, чтобы на обнаженных девушек посмотреть?

– А их никто и не просит. Сами раздеваются. И ещё ходят, как эти... папуасы всю жизнь.

– Всю жизнь? О Господи! Ну, смотри!

Я повернулся. Сказать, что ахнул – значит, ничего не сказать.

– Ну и зачем вам это? – только и смог выговорить я.

– Красивой хочу быть!

– Зачем?

– Низачем. Просто. Красивой.

– Для кого?

– Для себя хотя бы. А что? Для тебя, в конце концов. Не нравится, что ли?

– Почему? Нравится. Только на одну мысль наводит.

– Это на какую же на такую мысль?

– Вы, случаем, не замуж; собрались?

Она на мгновение задумалась.

– Замуж? А что? Пожалуй, и замуж;! Думаешь, не получится?

– У вас как раз получится.

– Почему так думаешь?

– Да какой осёл мимо такой Офелии пройдёт?

Она самодовольно улыбнулась, подошла и, чего я никак не ожидал, взяла в ладони моё лицо и мучительно долго-долго разглядывала его. Я даже чуть не задохнулся от мысли, что она хочет меня поцеловать. Но она только легонько ущипнула меня за щеку и ещё раз в этот вечер поразила:

– Откровенность за откровенность. Помнишь, что на прощание тогда говорил? Так вот, знай. Будь ты постарше, я бы

сама... Понимаешь? Ну, ты понимаешь... – и уже для себя самой: – Ну всё, походили с ума и хватит! Отвернись, переоденусь.

И, когда переоделась, стала уже совершенно другой, такой грустной, такой несчастной, что, казалось, ещё чуть-чуть и заплачет. Мне стало её бесконечно жаль, чего бы я не сделал в эту минуту, лишь бы она была счастлива.

Если б я только мог предположить, если б только знал, для кого и для чего всё это!.. И что? Не знаю, но что-то бы, наверное, всё-таки предпринял, что-нибудь да придумал!

Расстались мы, как всегда, закадычными друзьями. На этот раз на прощание я не посмел ничего подобного тогдашнему произнести. Что-то помешало.

Однако, оказавшись на улице, под чудным звёздным небом, я, почти не помня себя, произнес:

– Милая, дорогая Елена Сергеевна!

И вздрогнул! Показалось, кто-то шевельнулся за ближним кустом акации. Прислушался. Было так чудесно и чудовищно тихо, что я, с трудом переведя дыхание, ещё раз благодарно глянув на соседскую дверь, на сказочно светящиеся во мраке окна, пошёл к своему дому. И идти было – смешно сказать – всего двадцать шагов.

Перед тем как лечь в постель, Митя меня убил. Собираясь к завтрашнему отъезду, он извлёк из кармана брюк изжёванный неизвестным существом тетрадный лист, на котором его собственными каракулями были означены рекомендуемые к

летнему прочтению произведения, которые он просил меня найти в отцовской библиотеке наверху. Прочтённые уже были старательно, до дыр, зачёркнуты. Среди непрочтённых значились: Михаил Горький «Старуха из Виргилии» и Гоголь «Тарас и бульба».

– И что это за бульба?

Митя ничтоже сумняся ответил:

– Собака, наверно, человека же так не назовёшь.

Пока я покатывался со смеху, он стоял с кислой физицей.

– И ничего смешного.

– А папу... – придушенный свист смеха, – что... – опять, – не... – ещё дольше, – не попросишь?

– А! Сердитый он.

– На тебя?

– На ма-аму. А она на него. Говорит: «Не знаю, какие у тебя дела! Дома никогда не видать, воспитанием детей не занимаешься! Как дяденька чужой! С утра уехал, поздно вечером приехал. Не до нас! Да ещё на рыбалку на всю ночь на ту сторону заладил! И где твоя рыба? И ещё недоволен!» А он – х-х! – представляешь, Никит? «Это, – говорит, – просто какое-то рабство!» И давай маме конституцию читать... Она хлопнула дверью и в зале спать легла. Заходиил. Плачет. Бабушке говорю, а она: «Сама знаю, иди». Мо-олится старуха.

Я задумался. Конечно, скандалы не были новостью. А вот рыбалка действительно была полной неожиданностью. Если

бы речь шла об охоте, я бы внимания не обратил, но рыбалка, да ещё ночная...

И я ушёл в себя. Митя несколько раз пытался меня извлечь оттуда. И наконец, махнув рукой, удалился.

Ну точно, возвращаясь от Паниных, видел я позапрошлой и прошлой ночью костер на том берегу! И что? Костёр и костёр. Мало ли у нас желающих порыбачить? А это, оказывается, отец... Но скажу: и только. Всё. Мысль дальше очередного отцова «бзика» не пошла. А вдруг он хочет, подобно Куинджи, написать картину июльской ночи? Ночи-то, ночи какие чудные стояли! И потом, я был так занят своим. Вы только представьте! Завтра у меня в гостях будет любимая девушка! Пройдёт по дому, всё с любопытством осмотрит. Походя, коснётся кое-чего рукой. Может быть, даже присядет на мой стул у письменного стола и что-нибудь спросит. Возможно, это кому-то покажется и смешным, но любимая девушка в доме – весеннее солнышко и проталинки после холодной зимы.

С ощущением солнца в душе я и заснул.

13

Бабушку умасливать не пришлось. Как только скрылись за дверью напутствуемые скрываемыми от сердитых отцовых глаз её широкими крестами родители с Митей, я сказал, что у нас будут гости. Узнав, что за гости, бабушка всплеснула

руками:

– А ба-а, неужли невесты в гости пожалуют?

И тут же погнала меня наверх прибираться.

Сама заняласьстряпнёй. Пока я, засучив рукава и закатав трико, носился с половым ведром сверху вниз, чего-чего она только не наготовила. А вскоре и гости пожаловали. Я даже ахнул – принарядились. И Маня – особенно. От её смущённой под любопытным бабушкиным взглядом улыбки, от её глаз, лёгкого, светленького платица, белых носочков и бо-соножек ещё светлее стало в доме.

– Милости просим. Не разувайтесь. Сухо на воле. Проходите. Что встал, как пень? – толкнула она меня. – Дом покажи. Проходите, проходите.

– Ба-аб, это Маня, – представил я. Маша мило улыбнулась, сказала: «Здрасте». – А это моя бабушка Анастасия Антоновна.

– Кака там Анастасия Антоновна? – махнула рукой она. – Просто – баба Настя! Милости просим. Вера, Люба, что как не родные?

Маша с любопытством осмотрела все комнаты. И хотя не присела, но всё-таки подержалась за спинку моего стула. Пока я водил Машу по комнатам, сёстры помогали бабушке накрывать на стол. Перед тем как сесть, помолились, когда бабушка, как бы между прочим, обронила: «Раньше, прежде чем сесть, молились, да вы ноне, как говорится, молодёжь, какой с вас спрос, садитесь, а я перекрещу», Маня предло-

жила: «А давайте и мы, как раньше?»»

И бабушка, очень довольная, прочитала «Отче наш» и благословила стол. Уходя вниз, шепнула мне: «Золото девка! Смотри не упusti!» Я про себя усмехнулся: «Не упusti... Даже прикоснуться боюсь!»

Пока ели, Маня между делом рассматривала картины. На одной остановила внимание, даже поднялась из-за стола и, подойдя поближе, долго смотрела. На картине был изображён порхающий, зависший на месте белый голубь. Всего один голубь и необыкновенной синевы небо. Не знаю, что необычного показалось ей тут – голубь и голубь, но возвратилась она к столу задумчивая. Я не решился спросить, о чём думает. Люба же с Верой до того были заняты бабушкиными пирогами, что на картины совершенно не обращали внимания.

Когда, как выражается бабушка, откушали, я предложил перейти в небольшие простенькие кресла, за журнальный столик, стоявший у выхода на балкон. В мансарде было хоть и душновато, но всё же не так, как на солнце. Дверь на балкон стояла настежь, но тюль не шевелился.

Прежде чем сесть в кресло, Маня захотела выйти на балкон. И мы все вышли.

– Высоко! Неужели отсюда прыгнул? – глянув вниз, спросила она.

Я обомлел от неожиданности.

– А откуда... – и догадался. – Дядя Лёня сказал? Преда-

тель!

– Ну почему – предатель? Он, между прочим, с уважением рассказывал. Не сильно зашибся?

– Грядку видите? Если б не в неё угодил – хана!

– Ну и словечки!

– Хана-то? Да у нас все так говорят. Ну всё, говорят, тебе – хана! Диалектизмы!

– Скорее – жаргон.

– Да у нас такого жаргона знаешь сколько? Жив, в общем. Ну что, идём?

Я достал с верхней полки «Капитал» Маркса, стоявший, как и все книги, корешком наружу, а из его аккуратно вырезанных внутренностей извлёк общую тетрадь. Это заинтриговало. Для большей интриги я приложил указательный палец к губам. Водворилась тишина.

Скажу сразу, далеко не всё мы поняли, но что-то всё-таки поняли, поскольку по прочтении завязалась оживлённая дискуссия, и даже был составлен план дальнейших действий. Но об этом после. Вот эта рукопись со странным названием.

ДУХОВНЫЕ ПРИЧИНЫ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

В «Московском Еженедельнике» (№ 27 за 1906 год) профессор церковной истории Московского университета А. Лебедев в статье: «Раскол, старообрядчество и православие» пишет:

«Причина раскола лежит глубже, нежели обыкновенно полагают: она касается самого существа Церкви и основ цер-

ковного устройства и управления. Различие в обрядах, само по себе, не привело бы к расколу, если бы дело обрядового исправления велось не так, как повело его иерархическое своевластие.

«Ничто же тако раскол творит в церквах, яко же любоначалие во властех», – утверждал известный вождь старообрядчества протопоп Аввакум в своей челобитной к царю Алексею Михайловичу.

Так это любоначалие, века угнетающее церковь, попирающее церковную свободу, извращающее само понятие о церкви (церковь – это я, а не мы), и вызвало в русской церкви раскол, как протест против иерархического произвола.

Любоначалие было виною, что для решения религиозно-обрядового спора, глубоко интересовавшего и волновавшего весь православный люд, собран был собор из одних только иерархов без участия народа, и старые, дорогие для народа обряды, которыми, по верованию народа, спасались просиявшие в русской церкви чудотворцы, беспощадно были осуждены; а на ревнителей обрядов, не покорившихся велениям собора, изречена страшная клятва, навеки нерушимая:

«Если кто, – читаем в постановлении собора относительно ревнителей старообрядчества, – не вразумится и пребудет в упрямстве своём до скончания своего, да будет и по смерти своей отлучён, и часть его и душа его да будут с Иудою предателем и с распявшими Христа жидами, и с Арием, и с

прочими проклятыми еретиками. Железо, камни и древесина да разрушатся, а тот да будет не разрешён».

Таково постановление собора. И всё это из-за того лишь, что держащиеся старых обрядов хотели креститься двумя, а не тремя перстами, служить обедню на семи, а не на пяти просфорах, читать и петь сугубую, а не трегубую аллилуйю и т. п.!

Но этого мало.

Не ограничиваясь проклятием, отцы собора положили подвергать непокорных и «телесным озлоблениям», в чём поддержали их и восточные патриархи, свидетельствовавшие перед лицом Всероссийского собора, на который были приглашены в качестве авторитетных судей по делам церковным, что так поступали с религиозными диссидентами и в Византии, где отцы церкви вкупе с благочестивыми царями «повелевали злочестивых еретиков наказывать многим биением говяжьих жил, и древием суковатым, и темницами... и овим языки отрезаша, овим руце отсекаша, овим уши и носы» (Деяния московского Собора 1666 и 1667 года. Издание братства св. Петра)».

На этот счёт корреспондент «Нового Времени» пишет:

«Теперь если, при свете приведённой цитаты из статьи профессора Лебедева, мы взглянем на твёрдую цель нового петербургского общества (32-х священников), которые требуют «освободить всю жизнедеятельность церковную от подчинения государству и другим преходящим человеческим

учреждениям», то мы ответим твёрдым: «нет».

Церковь хочет «автономизироваться», или, конкретнее, духовенство хочет, настаивает и требует, как «вечное учреждение», чтобы светские люди (или просто народ) ни как лица, ни как учреждения вовсе не вмешивались в их «специальное духовное дело», специальную духовную сферу...

Охотно бы можно было последовать этому примеру Испании XV века, если бы территориально и народно «вечное учреждение» не совпало с несколько презрительно называемыми в уставе «преходящими человеческими учреждениями»...

Будь духовенство в Сахаре, – для тамошних песков отчего бы ему и не учредить хоть даже «священное судилище» с огоньками аутодафе, или, как у нас, аляповатые срубы, в которых сожгли все-таки «святейшие патриархи» попарасстригу Аввакума...

Вообще, в Сахаре или где-нибудь в песках Туркмении они могли бы быть «автономными»...

Но на Руси, среди русского народа, уже поставленного на колена перед теми, что «секоша» и «резаша», и богомольно века склонённого пред идеалами, духом и, наконец, поэзией (да, да, вспомним наших самосожигателей!) этого «усекания» и «резания»...

Среди этого народа мы им автономии дать не можем!..

Гипнотизер, который загипнотизировал, – обязан и разгипнотизировать.

Профессор Лебедев это делает хотя бы в названной статье; готовы и будут делать «32», – они честные люди, добрые граждане: но этого слишком мало, эти несколько строк в этом 1906 «освободительном» году!

Гипноз продолжается для России с 988 года в одних идеалах, без малейшего послабления и колебания, – и «разгипнотизирование» продолжится очень долго, может быть, века 2–3.

И как общество, так и государство и вообще «преходящие человеческие учреждения» вправе не только не уйти в сторону от духовенства и духовных, якобы «специальных дел», но и обязаны всё время внимательно следить, наконец, властно следить за процессом разгипнотизации народа... Ведь в гипнозе люди не только думают, но и действуют: скопцы, саможигатели, морельщики, эти острые «иглы» samozавершившегося хребта православия. Пусть оно порицает и отрицает эти свои вершины: скопятся и жгут себя не читатели Дарвина и Бюхнера, а горячие почитатели «богоносных отцов», что «резаща» и «секоша»... На Западе была инквизиция, у нас поглубже – самоинквизиция...

Кончим: в Сахаре, в пустыне церковь могла бы быть независима в жизни своей. Но духовенство, но отшельники, монахи, оставив «пустынное житие», пришли к нам! Зачем бы? Что спрашивать: уже пришли. «Церковь» не осталась «в пустыне», где дни её прославляет Апокалипсис. Она вселилась среди нас. Она показала свои идеалы, она приучила к своим

идеалам, она заставила пасть пред ними и поклониться им доверчивые тёмные народные души, не умеющие, как младенцы Ниневии, «различить правой руки от левой». Всё уже совершилось! Образ совершившегося доказывает цитата из профессора Лебедева.

Как было, так ведь и осталось, и это что-то, очевидно, принципиальное и вечное, если йота в йоту сохранилось от 1666 года до 1906 года, повторилось у испанцев и у русских. Всё та же «власть», то же «любоначалие», та же «иерархия» без народа и вопреки народу, кажется, опирающаяся на евангельское «Паси овцы моя» и «кого разрешите вы на земле, – будет разрешён и на небесах, а кого вы (духовенство) свяжете, – будет связан и на небе»...

При этих условиях требовать для «вечного и безусловно-го учреждения» автономии среди «преходящих» людишек, царств, законов, наук, искусства, семьи, рождения, болезней, голода, нужды, страстей, коллизий, – чтобы оно было «свободно» и ни с чем, кроме себя, не соотнобразывалось... кажется, жестоко».

И получается парадокс! Евангелие свидетельствует о сути Церкви – одно, а её «верные и непогрешимые» служители, «кои опирашесь на предания святых отцов, каноны и апостольские правила», всю историю только и делали, что презирали, мучили, издевались как над необразованным народом (Христовыми рыбаками), так и над своими женатыми собратьями.

Захватив власть в Церкви, учёное монашество, опираясь в том числе и на историю с Ананием и Сапфирой, постепенно превратило её во что-то совершенно чуждое духу Евангелия, духу Христовых заповедей. Достаточно заглянуть в историю Церкви, чтобы это понять. Как только вытеснили из управления женатый епископат, сразу начались ереси, разделения церквей, инквизиция, молот ведьм, расколы. Духом начётничества, канцелярщины, казёнщины и бурсы были насквозь отравлены все духовные семинарии и академии. Ни откуда столько не вышло революционеров и атеистов, сколько из духовных семинарий и академий. Все эти и другие проблемы до того измучили русское общество, что тотчас, при даровании свобод, побудили высший епископат согласиться на собрание Чрезвычайного Поместного собора в Москве.

Но ничего из предшествующей истории организаторами собора учтено не было.

Как пишет один весьма заинтересованный, но не подписавшийся корреспондент в статье «Церковный Собор в Москве», напечатанной в газете «Новое Время» за № 11319 от 16 сентября 1907 года, хотя Собор и «собирается во времена довольно сознательные», «без сомнения, встретит и очень большую оппозицию, между прочим, и в самом духовенстве. Клирики, т. е. белое духовенство, «не подписывают постановлений», как равно не подписывают его и «миряне», входящие в состав членов Собора. И это уже до начала собрания раскалывает его состав.

Но тогда вообще, для чего же они позваны?

Явно, что они позваны только в качестве драпировки, чтобы задрапировать что-то печальное.

Что такое?

А то, что Собор есть собор одних монахов, монашеский собор, и это скрадено только величественным выражением: «епископ», «одни епископы подписывают постановления».

Выразись правила определённое, что-де на Соборе к настоящему вниманию призываются или допускаются одни только монашеские взгляды, монашеские мнения, монашеские требования, – и его чересчур односторонний и почти даже тенденциозный характер забил бы всем глаза. Скрыть эту тенденциозность, его как бы предрешённый уже характер и направление, характер не свободный – это и составило задачу правил, которые и позвали клириков и мирян в таком числе и с таким порядком их выборов, что они не получают значения и вместе с тем придадут вид, что это есть трехсоставный или сословный Собор христианской Руси, православной Руси, когда на самом деле это будет собор монашеский или архиерейский».

И в другой статье, «Чрезвычайный Собор Русской Церкви и Её будущее», появившейся в газете «Русское Слово» 20 сентября, за № 215 в 1907 году, корреспондент, подписавшийся «В.В.», добавляет, как бы возражая вышеизложенному: «... священники ведь были на соборе? Были! Ну, а «собор поставил и определил» лишить их того-то и того-то,

отнять ещё то-то и то-то из их прав. Значит, и они согласились, значит, ничего без их желания. В этом общем изложении дела, которое одно и без подробностей перейдёт в века, перейдёт в историю, станет делом жизни, – и не будет вставлена оговорка: «составили и подписали одни епископы». Вот в чём опасность положения, которую в общем очерке предвидел и С. Н. Булгаков. Печальное теперешнее перейдёт в вечность».

Иными словами, все ждали, когда наступит конец беззаконию, и конец «должен был начаться с изменения правового положения белого, женатого священства в самой церкви; в уравнении прав его с бессемейным (монашеским) духовенством. Изменились бы права – изменилось бы и положение; изменились бы с этим речь, голос, мнение, взгляд священника, стал бы он выпрямляться из теперешнего скрюченного состояния своего и возрастать в разуме, в силе, в просвещении. Всё это теперь ему не нужно, ибо он призван только править требы. Для этого ни разума, ни учёности, ни какого-нибудь характера не требуется. Думает за него и делает все дела, даже и его касающиеся, епископ, которому и нужен этот разум и воля. Не говорим о действительности, а о той царствующей теории, которая не может не давить и на действительность, не могла не изуродовать её. Но теперь, с этим призывом священников и мирян на собор и, следовательно, с санкцией их авторитетом «решений и постановлений собора», которого они, однако, не составляют и к составлению

этому не допущены, – явно, что они из теперешнего состояния уже никогда не подымутся».

Отсюда закономерно следует: раз не подымутся священники, не подымется и паства.

И в духовном смысле революция была предрешена.

14

С минуту стояла абсолютная тишина. Больше всех, казалось, была потрясена Маша. Несколько раз во время чтения я вскидывал на неё глаза. И Боже, сколько внимания, сколько душевного волнения было в её ещё недавно таких бесечно лучистых глазах!

– Мы не можем этого так оставить! – сказала она. – Надо об этом поговорить.

– С кем? С отцом? – удивился я. – И как ты себе это представляешь? Извини, папа, я твой тайник нашёл?

– И что? Не для себя же он это написал? Так пусть скажет, для чего написал, и что надо делать?

– А разве надо что-то делать? – молвила Люба.

– Конечно! И давайте прямо сейчас дадим обещание... Ему, Богу, – прибавила она потише. – Что будем жить, как Он велит, а не как эти...

– Кто? – сглотнув слюну, спросила Вера.

– Плохие церковники.

– Вне Церкви? – удивился я.

– Зачем? Мы же не секта какая-нибудь.

– И с чего начнём?

– Да хоть с Евангелия. Анастасия Антоновна даст?

– На вынос – вряд ли. А вот если для чтения у неё собираться, думаю, будет только рада.

– Так решено?

И мы скрестили на журнальном столе руки.

– Ну-у, как вы тут? – неожиданно выросла над нами бабушка. – А вы чего это, в игру, что ли, какую играете?

– Да вроде того... – промямлил я.

– Ну-ну, играйте, не буду мешать.

И она хотела удалиться, но я остановил:

– Баб, погоди. Мы тут... к отцу Григорию хотим съездить.

Сказала бы, когда лучше всего...

Она обрадовалась, присела к столу и стала объяснять, как лучше добраться. Сказала, что можно и на теплоходе, и на «Метеоре», и на автобусе. Но ближе и дешевле получалось по воде. «В субботу, – сказала, – с утра и поезжайте. И народу будет немного. И от меня поклонник с гостинчиком и записочками передадите».

Маша попросила:

– Анастасия Антоновна, а расскажите про него.

– Про батюшку-ту? Да что рассказывать? Поедете – сами увидите. – А сама стала рассказывать: – Батюшкой ещё когда не был, в гонения, перед войной, когда на строительстве Канавинского моста работал – было дело. Сядут мужики пере-

кусить, он обязательно молится, без молитвы за стол не сел. А один раз кто-то и скажи ему: «И в наше время ты ещё молишься? У вас что, все в деревне такие?» – «Нет, – мол, – много и таких, что перед едой не молятся – кошки, собаки, свиньи». И весь тебе сказ! Ладно, сидите, пойду.

– Баб, а можно нам у тебя Евангелие почитать?

– Ты, что ль, надоумил?

– Я предложила, Анастасия Антоновна, – сказала Маша. –

Пожа-алуйста.

– Ну как тут отказать? – и ко мне: – Вот, учись, как просить надо. Приходите, все приходите. Как надумаете, так и приходите.

И тогда Маша спросила:

– А можно прямо сейчас?

Бабушка сказала: «Отчего же». И мы пошли вниз.

Бабушкина комнатка была самой уютной и светлой в доме, но более, чем света, было в ней какой-то благостной тишины. Немудрёное убранство – железная кровать, аккуратно заправленная, с тремя водружёнными одна на одну подушками, комод с разными шкатулками и круглыми железными расписными банками, в которых лежали швейные принадлежности, ножная швейная машинка «Зингер», у небольшого, занавешенного тюлем окна, фотографии дедушки, свадебные родительские, наши семейные в рамочках на стене, жёсткий допотопный стул, самотканые половики и круги на полу – всё казалось незначительным придатком главного:

красного угла, где помещалась больших размеров оплетённая позолоченной виноградной лозой икона Фёдоровской Божией Матери, сохранённая бабушкой от времени разрушения церкви и привезённая сюда из родного села. Перед иконой висела фарфоровая лампада в виде белого голубя, стояла высокая, примерно с комод, тумба с выдвижным ящиком и дверцей, напоминая аналой. На тумбе лежал старинный молитвослов, со следованной Псалтирью. За ней же, обычно стоя, я и читал бабушкино «Остромирово евангелии». Хранилось оно в верхнем выдвижном ящике комода.

– Как у вас хорошо! – сказала Маня.

– Куда ж вас, хорошие вы мои, посадить? – тут же засуетилась бабушка и ко мне: – Ну чего встал? Беги за стульями.

Я принёс стулья. Затем достал Евангелие. Бабушка уверяла, что оно напрестольное, из их церкви, но уже без оклада, конфискованного «Помголом» по указу «самово Ленина» вместе с другими церковными ценностями. Хранилось сначала у её тётки. Потом к ней перешло. По её просьбе перед самой войной деревянные корки были обернуты дедушкой бордовым плюшем.

– Садитесь, – сказала бабушка гостям и сама присела. – Тут не в церкви. Можно и сиза слушать. А он пусть стоя читает. Читать лучше стоя. И сиза можно. Но стоя лучше. Евангелие всёжки.

– Баб, я не с начала, а от Иоанна начну. Можно?

– А что, чай? Не на службе. Читай, отколь понравится. А

то так открой, где откроется, и читай. И так иные читают, когда волю Божию узнать хотят.

– Волю Божию? – удивилась Маня. – Это как?

– Волю Божию-ту? А когда приспичит, открыл – и читай, что прописано. Вот те воля Божия и будет. Только допреж надо хорошенько помолиться. Десяток поклонников положить. Так, мол, Господи, и так, в вразумленьи нуждаюсь. И читай.

– А можно как-нибудь попробовать?

– Да хоть сейчас!

Маня задумалась.

– А что? – поддержал я. – Давайте прямо сейчас и пробуем. И я загадаю. Баб, а можно одновременно всем?

– Должно – нет... Каждому своё на роду написано.

– Тогда пусть Маня одна загадает, а мы помолимся. Можно?

– Даже лучше. Сам Господь сказал, коли двое или трое попросят об одном, будет им.

И мы, встав так, чтобы не мешать друг другу, сделали по десять земных поклонов. Я лично молился о том, чтобы то, что выпадет Маше, стало и моей судьбой. Можно себе представить, с каким волнением открывал я Евангелие.

– Закрываю глаза-а. О-открыва-аю. Внимание! Читаю справа, с первого абзаца весь эпизод до конца, – сообщил я и открыл глаза.

То, что прочёл, поразило всех. Не знаю, было ли то про-

рочеством, определением нашей дальнейшей судьбы, но что было открыто со смыслом и попало в самую точку, я даже не сомневался. А выпало вот что.

– «И в третий день брак бысть в Кане Галилейстей: и бе Мати Иисусова ту. Зван же бысть Иисус и учиницы его на брак. И не доставшу вино, глагола Мати Иисусова к нему: вина не имут. Глагола ей Иисус: что есть Мне и Тебе, Жено; не у прииде час мой. Глагола Мати его слугам: еже аще глаголет вам, сотворите. Веху же ту водоносы каменни шесть, лежащие по очищению иудейску, вместящия по двема или трием мерам. Глагола им Иисус: наполните водоносы воды. И наполниша их до верха. И глагола им: почерпите ныне, и принесите архитриклинови. И принесоша. Якоже вкуси архитриклин вина бывшего от воды (и не ведаше откуда есть: слуги же ведяху почерпшие воду), пригласи жениха архитриклин. И глагола ему: всяк человек прежде доброе вино полагает, и егда упиются, тогда худшее: ты же соблюл еси доброе вино доселе. Се сотвори начаток знамением Иисус в Канне Галилейстей, и яви славу свою: и вероваша в него ученицы Его».

По окончании чтения воцарилось благоговейное молчание. Казалось, сам Иисус невидимо стоял среди нас.

– И что это означает? – первой нарушила молчание Mania.

– Придёт время, милая, сама всё узнаешь... – как будто нарочно уклонилась от прямого ответа бабушка.

– Ну что, ещё? – спросил я.

И с общего молчаливого согласия прочёл первую главу от Иоанна. Особенное впечатление на всех произвело начало. Мы ещё не знали, что именно его уже много веков подряд читают на Пасху. Говорилось в нём об удивительном и непостижимом, о том, что никому и «на ум не взыде», а именно, что в начале, когда ещё ничего во всей вселенной, а может, и самой вселенной не было, было – Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Слово. И было Слово от начала у Бога. И всё, что мы теперь видим и не видим, «Им быша, и без Него ничтоже бысть, еже бысть». И только в Нём, в этом Божественном Боге-Слове была настоящая жизнь, и жизнь эта была живоносным светом для человеков. «И свет во тьме светит, и тьма его не объят». Это уже я, как мог, переводил и объяснял. Говорил, что Христос и был Светом истинным, просвещающим всякого человека, приходящего в мир. И в мире был, в том самом, который через Него начал быть. И мир этот Его не узнал. Пришёл к своим, а они Его не приняли. А тем, кто принял, всем верующим в Него, дал власть быть чадами Божиими. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И многие видели славу Его, как Единородного от Отца. От полноты Его и все верующие в Него приняли благодать на благодать, ибо «закон Моисеем дан бысть: благодать же и истина Иисус Христом бысть».

Потом опять сидели наверху и пили чай со смородиновым вареньем. И ещё часа два катались на лодке, причаливали к тому берегу, к месту виденного мною ночного костра, ходили к берегу Оки. Под конец я причалил к мосткам дома Паниных и мы молча пошли было на нашу веранду, как вдруг из-за угла дома неожиданно нарисовался с зачехлённой гитарой Глеб.

– Куда, думаю, все запропастились? А они вон где! Дядь Лёня к пяти велел, а скоро шесть. Песню новую не хотите послушать?

Мне лично – не хотелось. И не только потому, что был совершенно в ином, после чтения Евангелия, настроении, а еще потому, что знал, зачем он пришёл, что занятия – блеф, и как только мы войдём, он начнет отпускать в мою сторону плоские шуточки. Такая уж у него натура. Не мог он, находясь в компании, кого-нибудь не подкалывать, над кем-нибудь не подсмеиваться. А вообще, это в обиходе нашего посёлка среди парней водилось. Соберутся – и для забавы подкалывают кого-нибудь. Я этого терпеть не мог. И, скорее, это, а не запреты отца было основной причиной моего отчуждения. К тому же и похабщины не переносил, которая в их чисто мальчишеской компании с уст не сходила. При девчатах, правда, затухала, и то сказать – при каких. Были у нас две

или три оторвашки, хоть уши затыкай да беги. Откуда знаю? Да пару раз испытал на своём горьком опыте, когда, минуя запреты отца, попробовал было войти в их компашку через одноклассника. И что же? Прогуливаясь со мной по нашему Бродвею, где по вечерам, прежде чем отправиться в беседку, все обычно гуляли, он, ни слова не говоря, выслушал исповедь моего сердца и в тот же вечер поднял в беседке на смех. И Глеб в этом участвовал. И всякий раз, когда случилось проходить мимо беседки, вслед мне летели самые обидные, в сопровождении лошадиного ржанья, слова.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.